

VILNIAUS UNIVERSITETAS

JULIJA SNEŽKO

TAUTOS POETIKA NIKOLAJAUS KARAMZINO TEKSTUOSE  
(1787-1803 m.)

Daktaro disertacija  
Humanitariniai mokslai, filologija (04H)

Vilnius, 2012

Disertacija rengta 2007 – 2011 metais Vilniaus universitete

**Mokslinis vadovas:**

doc. dr. Natalija Arlauskaitė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04H)

**Konsultantas:**

prof. dr. Aleksej Miller (Cenrinis Europos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H)

ВИЛЬНИУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЮЛИЯ СНЕЖКО

ПОЭТИКА НАЦИИ В ТЕКСТАХ НИКОЛАЯ КАРАМЗИНА (1787-  
1803 г.)

Докторская диссертация  
Гуманитарные науки, филология (04Н)

Вильнюс, 2012

Исследование было выполнено в Вильнюсском университете в 2007-2011 годах.

**Научный руководитель:**

доц. др. Наталия Арлаускайте (Вильнюсский университет, гуманитарные науки, филология – 04Н)

**Консультант:**

проф. др. Алексей Миллер (Центральный европейский гуманитарный университет, гуманитарные науки, история – 05Н)

Благодарю кафедру Русской филологии Вильнюсского университета за возможность осуществить свой замысел, Филологический факультет Вильнюсского университета за финансовую поддержку моего участия в международных конференциях, Федеральный департамент внутренних дел Швейцарии за возможность пройти стажировку в Лозаннском университете, Патрика Серьот и кафедру славистики Лозаннского университета за прекрасные условия для научной работы. Также выражаю благодарность Алексею Миллеру и Марии Майофис за важные замечания в отношении моей работы. Я очень признательна Наталье Боткиной, Айре Некрашайте, Руте Шлапкаускайте, Риме Барташавичюте, Таисии Лаукконен, Сергею Петелину за оказанную разного рода помощь и моральную поддержку. Отдельно хочу поблагодарить моего научного руководителя Наталию Арлаускайте, которая вдохновила меня на диссертационное исследование, за постоянную поддержку, рабочий оптимизм и ценные советы.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	7
<b>ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ</b> .....	14
<b>I. ПОЭТИКА НАЦИИ В ПАНЕГИРИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ</b> .....	55
Поэтика нации в «Историческом похвальном слове Екатерине II».....	69
«Красота» и «возвышенность» империи .....	77
Эмоциональное сообщество и его аффективная граница.....	84
Выводы .....	100
<b>II. ПОЭТИКА НАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ СТАТЬЯХ</b> .....	102
Пространство.....	102
Роль пейзажа в «воображении» нации .....	112
Время .....	118
Аффективная граница нации .....	121
Нация как эмоциональное сообщество: роль категорий возвышенного и прекрасного в ее «воображении» .....	134
Выводы .....	149
<b>III. ПОЭТИКА НАЦИИ В МАЛОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ</b> .....	151
Пространство.....	151
Как «воображается» родина.....	155
Москва: роль категорий возвышенного и прекрасного в ее «воображении»	161
Эмоциональное сообщество и его аффективная граница.....	170
Время .....	183
Неэмоциональное (модерное) сообщество.....	192
Выводы .....	197
<b>ВЫВОДЫ</b> .....	199
<b>СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ</b> .....	206

## ВВЕДЕНИЕ

*Цель* данного диссертационного исследования – показать, каким образом в текстах Николая Карамзина конструируется нация как воображаемое сообщество. Особенность работы заключается в том, что исследуется не совокупность идей Карамзина о нации, а совокупность художественных элементов, определяющих специфику ее конструирования в самих текстах и тесно связанных с эстетическими особенностями его политического мышления, то есть – *поэтика нации*. При этом специфика нации как воображаемого сообщества также рассматривается в контексте проблематики *имперского дискурса*.

В настоящей работе нация понимается в духе конструктивистского подхода Бенедикта Андерсона, рассматривающего ее не как само собой разумеющуюся данность, но как некое *воображаемое сообщество*. Андерсон пишет: «Все сообщества, которые представляют собой нечто большее, чем деревня, в которой жители знают друг друга в лицо, являются воображаемыми»<sup>1</sup>. С его точки зрения, в конструировании нации как воображаемого сообщества очень важную роль играла литература и пресса – творческий потенциал для воображения нации закладывается в самих текстах, что позволяет исследовать не то, как в них «отражается», а то, как в них воображается или «создается» сообщество людей, называемых нацией. Таким образом, нацию у Карамзина можно рассматривать не только как отрефлектированное им понятие, имеющее определенный исторический и общественный контекст употребления<sup>2</sup>, но и как своего рода инклюзивное дискурсивное

---

<sup>1</sup> Anderson B., *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*, 1983, 2nd rev. ed., London: Verso, 1991, p. 6.

<sup>2</sup> О значениях понятия «нация» в России см.: Миллер А., «История понятия *нация* в России», *Понятия о России: к исторической семантике имперского периода*, том 2, Москва: Новое литературное обозрение, 2012, с. 7-49.

сообщество, с которым в процессе чтения может отождествиться читатель.

*Актуальность* диссертации определяется тем, что она вписывается в контекст активно ведущихся междисциплинарных исследований по «нациестроительству» и особенно в проблематику поиска способов концептуализации нации как «продукта» культуры. Один из главных вопросов в этой связи – как от конкретного материала (литературного, живописного, архитектурного и т.д.) перейти к политическому воображению, то есть, выявить тонкие текстуальные механизмы, в которых можно обнаружить незаметную «лабораторию» воображения нации, в данном случае – способы воображения нации в текстах Карамзина. Для современных исследований нации в области истории и теории культуры также характерно стремление описать и проанализировать отличия по-разному понимаемого национального дискурса от других дискурсов, риторик или поэтик. Данная работа показывает, как поэтика нации может быть описана во взаимодействии с имперской поэтикой.

Представляется, что в текстах Карамзина совокупность конститутивных элементов, определяющих специфику воображаемой нации, лучше всего описывается термином *поэтика* в значении древнегреческого слова *ποίησις*, означающего «изготовление, производство», «сотворение, созидание», и образованного от глагола *ποιέω*, означающего «делать, выделять, производить, готовить, изготавливать». То же значение «сделанности», присутствует в структуралистско-семиотическом подходе к поэтике произведения, понимаемой, например, как «система приемов» (Юрий Тынянов, Виктор Шкловский), «поэтическая функция языка» (Роман Jakobson) и структурные отношения элементов (Юрий Лотман). Поэтика в указанном значении оказывается созвучной и конструктивистскому подходу к пониманию нации, который акцентирует роль текстов и дискурсивных практик в ее воображении (Андерсон, Мишель Фуко, Сара Ахмед и др.).

Термин поэтика позволяет говорить не столько о том, *что* думал Карамзин о нации или как она «отражалась» в текстах, сколько о том, *как* она ему «представлялась», «чувствовалась», что также перекликается со значением *αἰσθητικός* – «чувственный», «чувственно воспринимаемый».

Можно заметить, что в анализе проблематики нации в многочисленных исследованиях (Б. Андерсон, Дж. Каллер, Ф. Моретти, Ю.М. Лотман, Г. Роггер, Б. Розенвейн, В. Редди, С. Ахмед, А. Зорин, В. Живов и др.) так или иначе учитываются такие элементы, как *пространство* (напр., проблема концептуализации национального пространства), *время* (напр., связь между спецификой «нового» времени и модерной нацией) и *эмоции* (напр., патриотизм vs космополитизм; эмоции как механизм исторического изменения), которые понимаются по-разному, в зависимости от исследовательского ракурса. Это дает основание полагать, что *основными элементами поэтики нации* в текстах Карамзина являются *пространство, время и эмоции*. Кроме того, для раскрытия специфики ее поэтики необходимо учитывать роль проблематики *имперского дискурса* (например, традиции имперского возвышенного, ориентализма). Как показывает внимательное чтение текстов Карамзина, специфика воображения нации в них в значительной степени определяется эстетическими категориями *прекрасного* и *возвышенного*, посредством которых характеризуются и пространство, и время, и эмоции. Задачей работы является раскрытие значений и функций этих элементов, совокупность которых и делает «наглядной» нацию как воображаемое сообщество.

В работе будут прослежены особенности поэтики нации в текстах Карамзина различных жанров. *Материалом исследования* являются малые произведения, написанные Карамзиным в период между появлением его двух *opera magna*, «Писем русского путешественника» (1791-1792) и «Истории государства Российского» (1816-1826): панегирические произведения (оды и «Историческое похвальное слово Екатерине II»), политические статьи, а также малые художественные

прозаические произведения. Поскольку в фокусе внимания данного исследования находится не совокупность идей Карамзина о нации, а ее поэтика, которая, как предполагается, отчасти связана и с жанровой спецификой произведений, то выбранный корпус текстов представляется достаточно репрезентативным и позволяющим детально рассмотреть способы воображения нации в его текстах. Этот период выбран еще и потому, что он связывает царствование трех императоров, Екатерины II, Павла I и Александра I, которые играют важную роль в конструировании воображаемой нации в текстах Карамзина. Кроме того, анализ произведений данного периода позволяет продемонстрировать характер изменений в поэтике нации.

*Новизна* диссертации определяется тем, что в ней предлагается по-другому взглянуть на остающуюся до сих пор востребованной проблематику нации у Карамзина. В существующих многочисленных работах по данной тематике рассматриваются, в основном, *идеи* Карамзина, прямо или косвенно касающиеся нации (национальный характер, язык, просвещение, Европа, самодержавие, консерватизм, революция). Настоящее же исследование фокусируется на исследовании специфики конструирования нации как *воображаемого* сообщества в самих текстах. В работе впервые на достаточно широком материале раскрывается роль эмоций, а также категорий возвышенного и прекрасного в жанрово специфичной поэтике нации.

### **Метод и структура работы**

Для анализа поэтики нации в текстах Карамзина учитываются подходы, разрабатываемые в различных научных областях (эстетике, истории эмоций и идей, семиотике, а также политической теории), прямо или косвенно соприкасающиеся с проблематикой «нации». Поэтому настоящая диссертационная работа имеет междисциплинарный характер. Этим обусловлено использование различных инструментов научного анализа.

В настоящем исследовании будет применяться конструктивистский подход, отказывающийся от эссенциализации рассматриваемых явлений, а также общий структурно-семиотический – в соответствии с которым исследуются значения и структура отношений составных частей анализируемого явления или объекта. Эти элементы будут выделяться и анализироваться в произведениях разных жанров, что должно показать жанровую специфичность поэтики нации. В анализе функций эмоций будут учитываться конструктивистские идеи Сары Ахмед, которые позволят описать способы конструирования «аффективной границы», а также – нации как эмоционального сообщества. Проблематика возвышенного и прекрасного будет рассматриваться с точки зрения эстетики Эдмунда Берка, так как она позволяет показать связь между художественной спецификой произведений и политическим мышлением Карамзина. Для раскрытия специфики пространства и времени важна идея Юрия Лотмана об их «моделирующей» функции. Для понимания проблематики империи наиболее продуктивным представляется подход Харши Рама, открывающий возможность ее концептуализации в текстах Карамзина с помощью понятия имперского возвышенного.

Работа делится на три части по жанровому признаку, исходя из *гипотезы*, что «удельный вес» элементов поэтики нации, в разных жанрах будет отличаться и обладать разным значением. В каждой из частей анализируются значения трех выделенных элементов поэтики нации, однако формальная структура частей может несколько отличаться в зависимости от «веса» и особенностей значений этих элементов в каждой из групп текстов.

В первой части анализируются торжественные оды Карамзина и «Историческое похвальное слово Екатерине II». Эти формально относящиеся к разным жанрам произведения можно исследовать в одной группе, поскольку они имеют некоторые общие черты и связаны

генетически<sup>3</sup>. Во второй части исследуются политические статьи Карамзина. Третья часть посвящена анализу малой художественной прозы.

**Положения, выносимые на защиту:**

1. Поэтика нации в исследуемых текстах Карамзина определяется взаимодействием следующих конститутивных элементов: *пространства, времени и эмоций*. Поскольку главную роль в ее воображении играют эмоции, нация является воображаемым эмоциональным сообществом.

2. Поэтика нации в текстах Карамзина жанрово специфична.

3. Специфика значений конститутивных элементов нации как воображаемого сообщества раскрывается, главным образом, посредством категорий *возвышенного и прекрасного*.

а) *Пространство* родины коррелирует с нацией как «эксклюзивным» сообществом, а пространство империи – с нацией как «инклюзивным». «Свое» пространство преимущественно характеризуется в терминах категории прекрасного.

б) *Время* как история является источником возвышенного и способствует установлению эмоциональной связи нации со своим прошлым. Значение времени также раскрывается в его «способности» актуализировать проявление прекрасного в нации.

в) Главную роль в объединении нации как *эмоционального* сообщества играют эвфорические *эмоции* (любовь), являющиеся выражением категории прекрасного, которая характеризует нацию как *утопическое* сообщество. В свою очередь, *страх* (выражение возвышенного) в отношениях между монархом и подданными и между странами соответствует «*политическому реализму*» отношений между ними.

---

<sup>3</sup> И слово, и оды у Карамзина содержат хвалу и «наставление» монарху, а также некоторые общие одические топосы, поэтому «Историческое похвальное слово Екатерине II» можно считать своего рода «одой в прозе» (см.: Матвеев Е.М., *Русская ораторская проза середины XVIII века (панегирик в светской и духовной литературе)*, диссертация... кандидата филологических наук: 10.01.01, Санкт-Петербург, 2007, с. 162).

4. Поэтика нации связана и с поэтикой *империи*, для которой характерна риторика возвышенного, раскрывающаяся в изображении имперского пространства, его соотношении с «чужим» пространством в мировом контексте и специфике действия имперской власти. При этом обе поэтики выражают два разных аспекта нации как воображаемого сообщества.

5. Посредством категорий возвышенного и прекрасного осуществляется связь между эстетическими особенностями текстов и политическим воображением Карамзина.

## ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ

### **Проблема нации в текстах Николая Карамзина: обзор литературы**

В целом, подход большинства ученых к изучению данной проблемы заключается в исследовании *совокупности идей* писателя на основе его литературных, критических, политических и исторических текстов. Роль Карамзина в контексте развития русского национального самосознания, равно как и его идеи о национальном характере неоднократно исследовались разными способами. При этом преимущественно рассматривалась проблема его «западнической» vs «русофильской» позиции, его идеи в контексте консервативной традиции, значение Французской революции в эволюции его общественно-политических взглядов, а также особенности его языковой программы.

Карамзинская *концепция языка* исследовалась в контексте разгоревшейся в начале XIX века полемики о языке, в которой проблематизировалось выражение национального начала или космополитичности в языке, что было связано с вопросом культурного самоопределения (спор Шишкова с Карамзиным). С точки зрения Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского, концепция литературного языка Карамзина (ориентация на разговорную речь, учитывание современной Карамзину ситуации в Западной Европе, влияние на него восходящих к спорам итальянских ренессансных теоретиков идей Вожла<sup>4</sup>) связана с европеизацией русской культуры. В начале XIX века шишковистами в качестве национального языка воспринимался церковнославянский, а речь образованных кругов общества они воспринимали как отражающую космополитические установки. По мнению Успенского, русский литературный язык должен был быть способен адекватным образом выражать то же, что могло быть выражено на европейских языках, и поэтому был связан с космополитической установкой. Парадокс

---

<sup>4</sup> Другую точку зрения на ориентацию языковой программы см.: Серман И.З., *Литературное дело Карамзина*, Москва: Издательство РГГУ, 2005, с. 182-210.

заклучался в том, что «космополитический» язык Карамзина в результате стал основой литературного, национального языка<sup>5</sup>. А.Н. Гривенко, говоря о языковой полемике начала XIX века, также отмечает, что на «традиционное противопоставление “церковнославянское-русское” наложилось противопоставление “свое-чужое”, при этом последнее парадоксальным образом ассоциировалось именно с “русским” языком, который активно поглощал иноязычные элементы»<sup>6</sup>.

Идеи Карамзина рассматривались также в контексте возникновения традиции *русского консерватизма*. Так, Д.В. Ермашов отмечает, что в работах, посвященных развитию политических идей Карамзина, фокус внимания направлен в основном на идею самодержавия как центрального места в его политической доктрине (Ю.М. Лотман, Л.Г. Кислягина<sup>7</sup>, Н.В. Минаева<sup>8</sup>). Главный тезис Ермашова заключается в том, что Карамзин в «Истории государства Российского» стремился не просто доказать выгоды уже существующего самодержавия, но главным образом укоренить «в сознании русских людей идею монархической власти как подлинно самобытного русского начала, предопределившего величественное развитие России на много десятилетий вперед»<sup>9</sup>. Марк Раефф, говоря о политическом консерватизме Карамзина, пишет что в своих публицистических работах, а в особенности в «Записке о старой и новой России» и в «Истории

---

<sup>5</sup> Успенский Б.А., *Из истории русского литературного языка XVIII - начала XIX века: языковая программа Карамзина и ее историческое значение*, Москва: Издательство МГУ, 1985, с. 3-70; Лотман Ю.М., Успенский Б.А., «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры», в: *Карамзин*, Санкт-Петербург: «Искусство», 1997, с. 484-565.

<sup>6</sup> Гривенко А.Н., «Карамзин-переводчик и полемика о путях развития образного языка», в: *Карамзинский сборник: Россия и Европа: диалог культур*, отв. ред. С.М. Шаврыгин, Ульяновск: «Карамзинская лаборатория», 2001; см. также: Anderson R.B., “Karamzin’s Concept of Linguistic ‘Cosmopolitanism’ in Russian Literature”, *The South Central Bulletin*, Vol. 31, No. 4, Studies by Members of SCMLA, (Winter, 1971), p. 168-170.

<sup>7</sup> Кислягина Л.Г., *Формирование общественно-политических взглядов Н. М. Карамзина (1785-1803)*, Издательство Московского университета, 1976, с. 146-164.

<sup>8</sup> Минаева Н.В., *Правительственный конституционализм и передовое общественное мнение России в начале XIX века*, Саратов: Издательство Саратовского университета, 1982, с. 72-102.

<sup>9</sup> Ермашов Д.В., Ширинянец А.А., *У истоков российского консерватизма: Н.М. Карамзин*, Москва: Издательство Московского университета, 1999, с. 63-64.

государства Российского» Карамзин «проповедовал монархический патриотизм», «сильное государство» и «имперское величие»<sup>10</sup>.

Проблема «национального» или нации в творчестве Карамзина также оценивалась с точки зрения выражения *народности*. С.П. Шевырев в лекциях о русской литературе (5 статья), рассказывая о периодах деления русской литературы («лжеклассическом», «романтическом» и «народном»), отмечает, что в творчестве Карамзина они все присутствовали, а «своею Историей государства Российского [он] начинает период народный»<sup>11</sup>. Народность здесь понимается как противоположность подражательности французской, английской и немецкой литературам. Н.А. Добролюбов в статье «О степени участия народности в развитии русской литературы»<sup>12</sup> также ставит вопрос, насколько правомерно говорить о Карамзине как о «писателе народном». Его вывод: о Карамзине нельзя говорить как о народном писателе, поскольку в своей «Истории государства Российского» он рассказал о событиях, основываясь на летописях, в которых выражались интересы «только двух малочисленных классов народа»; в литературе же он не смог изобразить русскую действительность: «северные поселяне похожи на аркадских пастушков»<sup>13</sup>. М.Н. Покровский, пытаясь найти «национальную подкладку» (его выражение) во взглядах Карамзина, так определяет его национализм: «Русский национализм Карамзина на поверку оказывается социальным консерватизмом», а прообразом государства становится государь – «идеализированный глава большого

---

<sup>10</sup> Raeff M., "At the Origins of a Russian National Consciousness: Eighteenth Century Roots and Napoleonic Wars", *The History Teacher*, Vol. 25, N. 1, (Nov., 1991): Society for the History of Education, p. 16; см. также: Pipes R., *Karamzin's Memoir on Ancient and Modern Russia: a translation and analysis*, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2005.

<sup>11</sup> Шевырев С.П., «Лекции о русской литературе. Статья №. 5», в: *Карамзин: pro et contra. Личность и творчество Н.М. Карамзина в оценке русских писателей, критиков, исследователей. Антология*, сост. Л.А. Сапченко, Санкт-Петербург: Издательство Русской Христианской гуманитарной академии, 2006, с. 81.

<sup>12</sup> Там же, с. 63.

<sup>13</sup> Там же, с. 63-65. В отсутствии верности историческим и бытовым реалиям в исторических повестях писателя «упрекал» Карамзина А.М. Скабичевский (см.: Скабичевский А.М., «Наш исторический роман», в: *Карамзин: pro et contra*, с. 66-71).

крепостного хозяйства»<sup>14</sup>. В этих работах подчеркивается и оценивается негативно роль Карамзина как представителя дворянской идеологии.

Ганс Роггер, анализирувавший взгляды Карамзина в контексте *становления национального самосознания* в России в XVIII в., определяет этот процесс, прежде всего, в культурном смысле как «поиск общей идентичности, характера и культуры отдельными членами данного общества»<sup>15</sup>. Он показывает, что решающим фактором в становлении национального самосознания, как в Европе, так и в России был контакт с «другим». В случае России «другим» являлась Европа. Эволюцию взглядов Карамзина он рассматривает как образец «пути, который русское национальное самосознание прошло в конце века»<sup>16</sup>, подчеркивая его направленность от космополитизма к патриотизму. В исследованиях Роггера важное место занимает анализ способов определения конститутивных элементов национальной культуры и национального характера в XVIII веке. Этот период он определяет как подготовительный, или как «компенсаторный национализм», который, однако, был далек от «апофеоза народа как единственного истинного сосуда национальной веры»<sup>17</sup> и в этом смысле он, с его точки зрения, отличался от национализма романтиков XIX века.

О Карамзине в контексте формирования «романтического национализма» в России пишет Эдвард Таден, выделяя следующие определяющие моменты в его становлении: масонство и сентиментализм как реакцию на философию французского просвещения; Французскую революцию и войну с Наполеоном 1812 года; влияние идей немецких романтиков (Гердера, Шеллинга) о нации как индивидууме, национальном духе, национальном характере и органическом развитии нации. Как и Роггер, он отмечает постепенно усиливающуюся критику Просвещения у Карамзина, возникновение у него интереса к истории и

---

<sup>14</sup> Покровский М.Н., «Александр I», в: *Карамзин: pro et contra*, с. 248-249.

<sup>15</sup> Rogger H., *National Consciousness in Eighteenth-Century Russia*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1960, p. 3.

<sup>16</sup> Ibid., p. 245.

<sup>17</sup> Ibid., p. 279.

историческому развитию, к проблеме национального характера и национального образования. Однако, по мнению Тадена, понимание Карамзиным «русской индивидуальности» сильно отличалось от идеи немецких романтиков о нации. Если немецкие романтики понимали национализм как историческое развитие национальной культуры народа, то Карамзин, согласно Тадену, в «Истории государства Российского», описывал развитие национальной культуры скорее в терминах «абстрактного принципа самодержавия»<sup>18</sup>.

Марк Льюис пишет, что, хотя так и не известно, был ли знаком Карамзин с историческими работами Гердера, он разделяет мнение К. Биттнера и Г. Роте относительно того, что для адекватного понимания «Истории государства Российского» необходимо учитывать влияние на него гердеровских идей о народе (*Volk*) и его концепции исторического развития<sup>19</sup>. Льюис считает, что, хотя Карамзин нигде не давал развернутых объяснений того, как именно он понимает народ, общность его взглядов с Гердером проявляется в том, что он, как и немецкий мыслитель, разделял представление о нации/ народе как о личности и индивидуальности и о том, что неожиданные и резкие перемены оказывают губительное воздействие на органическое развитие народа.

Джозеф Блэк анализирует *специфику исторической концепции* Карамзина, рецепцию «Истории государства Российского» в России и связь последующих исторических работ с его «Историей». Он отмечает, что, с одной стороны, Карамзин считал создание Российского государства высшей точкой исторического развития, а инициаторами исторического развития – царей, отводя народу пассивную роль, а с другой стороны, тем не менее, подчеркивал значение народа и его национального характера как «константы в российской истории» и основы могущества

---

<sup>18</sup> Thaden E.C., "The Beginnings of Romantic Nationalism in Russia", *American Slavic and Eastern European Review*, Vol. 13, № 4, (Dec., 1954), p. 514.

<sup>19</sup> Lewis S.M., *Modes of Historical Discourse in J.G. Herder and N. M. Karamzin*, New York: P. Lang, 1995, p. 93.

государства<sup>20</sup>, что особенно проявилось во времена Смуты, когда народ становился источником активного политического действия. Блэк, как и Льюис, отмечает схожесть взглядов Карамзина с идеями Гердера об истории народа как «органическом процессе».

Так же как и Роггер, Лия Гринфельд в развитии национализма в России (как и в случае Англии, Германии, Франции и Америки) отмечает роль «Другого», однако, с ее точки зрения, в основе механизма этого процесса лежит не просто встреча или контакт с «Другим», но *ressentiment*, «психологическое состояние», определяющей составляющей которого является чувство зависти и неполноценности по отношению к «Другому»<sup>21</sup>. Таким образом, особый акцент она делает на эмоциональной составляющей восприятия «Другого». В этом контексте, проследившая эволюцию взглядов Карамзина по отношению к Европе, она отмечает, что он «с необыкновенным талантом» выразил то, что другие «смутно чувствовали», то есть то, что подражание Западу неизбежно приведет к презрению к самому себе. А это, по логике Л. Гринфельд, является выражением *ressentiment'a*<sup>22</sup>.

На эмоциональную составляющую в формировании представлений о нации у Карамзина обращает внимание и Виктор Живов, который на его примере показывает тонкую связь между русским национализмом и сентиментализмом, отмечая влияние на него концепции национального характера Руссо. Как пишет Живов, проблема, которую должен был решить Карамзин, заключалась в том, что каким-то образом ему следовало вписать в единое национальное целое и европеизированную элиту (включая Петра I), и крестьян, – социальные группы, которые были радикально отделены друг от друга<sup>23</sup>. Если в сентиментализме это

---

<sup>20</sup> Black J.L., *Nicholas Karamzin and Russian Society in the Nineteenth Century: a Study in Russian Political and Historical Thought*, Toronto: University of Toronto Press: 1975, p. 127.

<sup>21</sup> Greenfeld L., *Nationalism: Five Roads to Modernity*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2001, p. 250.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Живов В., «Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности», *Новое литературное обозрение*, 2008, № 91, с. 124. О влиянии идей Руссо на Карамзина также см.: Лотман Ю.М., «Руссо и русская культура XVIII –

решалось с помощью любви, «риторически» стиравшей границы между стратами, то – отмечает Живов – с социальными теориями было сложнее<sup>24</sup>, так как «между петербургским петиметром и московским купцом не было ничего общего»<sup>25</sup>. Все же такой общей сцепкой, по его мнению, оказалась «любовь к вере отцов и верность монархическому принципу», которая стала пониматься Карамзиным как часть национального характера<sup>26</sup>.

Особое внимание роли «Другого» (Европы) в понимании культурной идентичности нации Карамзиным также уделяет Лотман в своем монументальном труде «Сотворение Карамзина» и в статьях, посвященных различным аспектам его творчества. Он исследовал особенности общественно-политических взглядов Карамзина, а также специфику идеологической оппозиции Запад/Россия в его текстах, критически подходя к исследованиям, в которых резко противопоставляются два периода в творчестве Карамзина: «западнический» (период «Писем русского путешественника») и «национальный» (период «Истории государства Российского»). Он согласен с мнением С.Ф. Платонова, высказанным еще в 1911 году, что: «В произведениях своих Карамзин вовсе упразднил вековое противоположение Руси и Европы, как различных и непримиримых миров; он мыслил Россию, как одну из европейских стран, и русский народ, как одну из равнокачественных с прочими наций»<sup>27</sup>. Специфика

---

начала XIX века», в: Лотман Ю.М., *Русская литература и культура просвещения*, Москва: О.Г.И., 1998, с. 190-202; Gorbатов I., *Formation du concept de sentimentalisme dans la littérature russe: l'influence de J. J. Rousseau sur l'oeuvre de N. M. Karamzine*, New York: Peter Lang, 1991.

<sup>24</sup> Там же, с. 120, 122.

<sup>25</sup> Там же, с. 125.

<sup>26</sup> Там же, с. 128;

<sup>27</sup> Платонов С.Ф., *Н. Карамзин*, СПб., 1912. с. 8-9 (цит. по: Лотман Ю.М., *Карамзин*, с. 570).

Эндрю Кан, говоря о литературно-критических работах Карамзина, также отмечает, что для его культурного мышления вовсе не была характерна «защитно-оборонительная» позиция: Карамзин верил в развитие национальной литературы, однако при этом настаивал на открытости по отношению к западным традициям, поскольку это, с его точки зрения, было необходимо для культурного развития русского общества (см.: Kahn A., "Introduction: Karamzin and the creation of a readership", in: Kahn A., *Nikolaj Karamzin, Letters of a Russian traveler: a translation, with an essay on Karamzin's discourses of Enlightenment*, Voltaire Foundation: Oxford, 2003, p. 7). Также он пишет, что карамзинский повествователь в «Письмах русского путешественника» обнаруживает, что русская культура обладает родством с другими

метода Лотмана заключается в том, что он как никто другой обращал внимание на «парадоксы» мышления Карамзина и его противоречивые высказывания, пытаясь дать им адекватное объяснение. В заострении таких «оппозиций» проявлялся его структурно-семиотический подход.

Андреас Шенле в своем анализе «Писем русского путешественника», проблематизируя отношение Карамзина к подлинности (реальности) и вымыслу (фигкции), обсуждает идеи Карамзина о национальном своеобразии. Он развивает мысль о том, что для Карамзина «слово» имеет приоритет над «реальностью», или природой<sup>28</sup>, и соответственно «склонность к фикционализации мира сильно влияет на его восприятие народов и обществ, которые он посещает»<sup>29</sup>. Еще Лотман высказывал эту идею, однако Шенле расширяет ее применительно к нации. Рассматривая отношение знака/ «маркера» к означаемому/ «виду» в восприятии нации Карамзиным, Шенле приходит к выводу, что Карамзин не может воспринимать англичан или швейцарцев и верифицировать их своеобразие непосредственно, без «маркера» (без прочитанных им текстов о Швейцарии и Англии), и этот «маркер» преобладает над восприятием означаемого или «вида». Другими словами, Карамзину, чтобы верифицировать их подлинность, нужны маркеры аутентичности – тексты. Однако когда речь идет о русских, отношение знака и означаемого переворачивается, поскольку они для Карамзина являются «своими» и их оригинальность не подлежит сомнению: «если для русских и нужен маркер, то это ради иностранцев»<sup>30</sup>. Это значит, что русские должны изменить себя, чтобы поменять «маркер» для европейцев, посредством которого они будут воспринимать русских.

---

европейскими национальными культурами, которые «существуют, дополняя друг друга в едином движении просвещения», и что для повествователя важно понять национальные различия и своеобразие (см.: Kahn A., “Nikolai Karamzin’s discourses of Enlightenment”, in: *Op. cit.*, p. 503).

<sup>28</sup> Schönle A., *Authenticity and Fiction in the Russian Literary Journey, 1790-1840*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2000, p. 70.

<sup>29</sup> *Ibid.*, p. 56.

<sup>30</sup> *Ibid.*, p. 61.

Вопрос о нации в широком смысле слова подразумевает вопрос о соотношении «реальности» с тем, как она изображается в художественных текстах. Например, в советском литературоведении в исследованиях прозы Карамзина часто ставился вопрос о том, насколько Карамзин «верно» изображает действительность или общество, т. е. насколько изображаемое соответствует реальным историческим, бытовым или биографическим деталям. При этом имела место тенденция оценивать развитие прозы Карамзина как поступательное движение от ярко выраженных субъективистских произведений к произведениям, имеющим отношение к жизни «народа». Так, Г.А. Гуковский оценивает его повести с точки зрения развития в них «реалистического» начала, отмечая, что с середины 1790-х годов Карамзин ищет новые формы выражения, двигаясь от лирических и «романтических» произведений к «бытовым повестям на современном материале русской дворянской жизни», хотя – оговаривается Гуковский – «было бы неверно говорить о реализме в применении к этим повестям»<sup>31</sup>. Поводом для такого взгляда отчасти служили и названия некоторых произведений: «Евгений и Юлия: русская истинная повесть» (1789) или «Марфа-посадница, или покорение Новагорода: историческая повесть» (1802). Похожая тенденция в большей или меньшей степени прослеживается и у других исследователей, рассматривающих проблему историзма и эволюции творчества писателя<sup>32</sup>, для которых характерен телеологический взгляд

---

<sup>31</sup> Гуковский Г.А., *Русская литература XVIII века*, Москва: Аспект Пресс, 1999, с. 436.

<sup>32</sup> Например, В.П. Степанов в анализе повести Карамзина «Фрол Силин, благодетельный человек» пытается показать, как соотносится ее «жизненный материал» и его карамзинская интерпретация (см.: Степанов В.П., «Повесть Карамзина “Фрол Силин”», в: *XVIII век. Сб. 8. Державин и Карамзин в литературном движении XVIII – начала XIX века*, под ред. П.Н. Беркова, Г.П. Макогоненко, И.З. Сермана, Ленинград: «Наука», 1969, с. 244). Неоконченный роман Карамзина «Рыцарь нашего времени» рассматривался с разных точек зрения. Например, вопрос о соотношении в нем «правды» и вымысла ставил В.И. Глухов (см.: Глухов В.И., «Карамзин-прозаик и жанр романа», в: *Карамзинский сборник: Россия и Европа: диалог культур*, с. 42-51). А.С. Янушкевича интересуют его социально-психологические аспекты, взаимосвязь характера героев и окружающей среды (см.: Янушкевич А.С., «Роман Н.М. Карамзина “Рыцарь нашего времени”: текст и контекст», в: *Карамзин и время*, ред. И.А. Айзикова, А.С. Янушкевич, Томск: Издательство Томского университета, 2006, с. 70-91). Повесть «Наталья, боярская дочь» различными исследователями рассматривалась с точки зрения особенностей ее историзма – верности историческому и бытовому правдоподобию – а также особенности ее соотношения с возможными первоисточниками (см.: Канунова Ф.З., *Из*

на развитие литературы, в соответствии с которым ее развитие воспринимается как движущееся в сторону раскрытия жизни народа и, следовательно, в сторону реализма.

Другую точку зрения выражают Гита Хаммарберг и Ганс Роте, которые считают, что в отношении художественной прозы Карамзина, вообще не правомерно ставить вопрос о степени ее «реализма» или «историзма». По мнению Хаммарберг, его главной целью является не попытка правдивого изображения жизни «народа» или действительности, а такой отбор деталей из исторического материала, который позволяет сделать его более трогательным, красочным или морально просвещающим»<sup>33</sup>.

Хаммарберг даже отрицает наличие *couleur locale*<sup>34</sup> в «Бедной Лизе» и утверждает, что «тот факт, что в рассказе представлена Москва и кое-какие детали ландшафта, не подразумевает реалистического описания, как часто утверждалось: нет ничего специфически московского в пейзаже как таковом /.../»<sup>35</sup>. В свою очередь, Роте пишет: «Под пером Карамзина любой пейзаж выглядит как Москва на Москве-реке [в

---

*истории русской повести (историко-литературное значение Н.М. Карамзина)*, Томск: Издательство Томского университета, 1967, 72-100; Орлов П.А., *Русский сентиментализм*, Москва: Издательство Московского университета, 1977, 222-225; Старчевский А., *Николай Михайлович Карамзин*, С.-Петербург, 1890, с. 90-93; Федоров В.И., «Повесть Карамзина “Наталья боярская дочь”», *Ученые записки Московского педагогического института имени Потемкина*, 48, 5 (1955), с. 109-142; Кочеткова Н.Д., «Формирование исторической концепции Карамзина – писателя и публициста», в: *XVIII век. Сб. 13. Проблема историзма в русской литературе. Конец XVIII- начало XIX века*, отв. ред. Г.П. Макогоненко, А.М. Панченко, Ленинград: 1981, с. 141-144; Сиповский В.В., *Очерки из истории русского романа*, том. I, вып. 2, С.-Петербург: Типография Спб. Т-ва Печ. и Изд. Дела «Труд», 1910, с. 721-734. Л.А. Сапченко пишет, что «обращение к истории в “Бедной Лизе” и прежде всего в “Наталье, боярской дочери” было предпринято автором в поисках национальных традиций русской культуры, в целях осмысления ее перспективных возможностей» (Сапченко Л.А., *Н.М. Карамзин: судьба наследия (Век XIX)*, Москва: МПГУ, Ульяновск: УлГУ, 2003, с. 323). Повесть «Марфа-посадница» чаще всего рассматривалась в контексте идей Карамзина об истории и формах правления – самодержавного или республиканского. При этом учитывались своеобразие характера Марфы и особенности сюжета по отношению к реальным историческим событиям (см.: Black J.L., *Nicholas Karamzin and Russian Society in the Nineteenth Century...*, p. 46-49; Nebel, H.M., *N.M. Karamzin: A Russian Sentimentalist*, The Hague, Paris, Monton and Co., 1967, p. 138-141; Cross A.G., *N.M. Karamzin: a study of his literary career 1783-1803*, London and Amsterdam: Southern Illinois University Press, 1971, p. 132-136; Лотман Ю.М., «Пути развития русской прозы 1800-1810-х гг.», в: *Карамзин*, с. 389).

<sup>33</sup> Hammarberg G., *From the idyll to the novel: Karamzin's Sentimentalist prose*, New York: Cambridge University Press, p. 223.

<sup>34</sup> Сиповский В.В., *Очерки из истории русского романа*, том 1, с. 512.

<sup>35</sup> Hammarberg G., *From the idyll to the novel...*, p. 146.

«Бедной Лизе»], независимо от того, описывается ли пейзаж на Темзе или /.../ на Эльбе»<sup>36</sup>. Таким образом, по его мнению, трудно говорить о степени соответствия изображаемого «реальности» в художественной прозе Карамзина.

Эндрю Кан, исследуя совокупность философских, эстетических и социальных взглядов Карамзина в контексте европейской мысли XVIII века и жанровую специфику «Писем русского путешественника», обращает внимание на вопрос о нации. В отличие от других исследователей он рассматривает связь «*публичного*» и «*частного пространства*», памятников (монументов, руин, скульптур) с представлениями о нации у Карамзина, а также проблему создания в тексте «чувствующего» и «национального» субъекта. Вывод, к которому приходит Кан, заключается в следующем: Карамзин «расширил понимание субъекта (*self*) от думающего и чувствующего индивидуума до национального субъекта, для которого характерно ощущение истории и исторической перемены (олицетворяемой Петром I)»<sup>37</sup>. В контексте настоящего исследования работа Кана представляет большой интерес, поскольку он не только исследует особенности идей Карамзина в европейском контексте, но также показывает, каким образом *в самом тексте* «Писем русского путешественника» создается «чувствующий» и «национальный» субъект.

Кан подчеркивает роль Карамзина в создании читательской публики: его деятельность как писателя-сентименталиста, журналиста и переводчика благодаря присутствующему в его работах «разделению между социальной и политической, частной и публичной сферами, подводило читателя к пониманию того, что он является частью общества,

---

<sup>36</sup> Rothe H., N.M. *Karamzins europäische Reise: Der Beginn des Russischen Romans. Philosophische Untersuchungen*, Bad Homburg v.d. H., Verlag Gehlen, 1968, p. 239-240 (цит. по Hammarberg G., *From the idyll to the novel...*, p. 147). Относительно «Бедной Лизы» совершенно противоположного взгляда придерживается В.Н. Топоров, который показывает, что пейзаж московских окрестностей действительно соответствует топографической реальности (см.: Топоров В.Н., «О “Бедной Лизе” Карамзина», в: *Карамзин: pro et contra*, с. 814-867).

<sup>37</sup> Kahn A., “Nikolai Karamzin’s discourses of Enlightenment”, p. 550.

отличного от государства»<sup>38</sup>. ИмPLICITно подразумеваемый или конструируемый читатель в карамзинских текстах, – это, прежде всего, дворянство, которому Карамзин отводит важную роль в развитии России. Как говорит Кан, Карамзин понимал это развитие как развитие публичной культурной сферы, а также «способности писателей и читателей создавать друг друга»<sup>39</sup>. Такое развитие, в свою очередь, происходило в Европе, когда там «создавалась автономная и неполитическая арена, которая имPLICITно оспаривала доминирование дворцовой культуры»<sup>40</sup>. Таким образом, благодаря деятельности Карамзина в целом и его текстам в частности моделировался социальный облик читательской публики.

Опираясь на идею Юргена Хабермаса о публичном пространстве (*public sphere*)<sup>41</sup>, Кан исследует «репрезентации» различных европейских культурных пространств (соотношение публичного и частного пространств, а также отношение к ним повествователя) в «Письмах русского путешественника», отмечая устойчивый интерес Карамзина к особенностям организации повседневной жизни в местах, которые он посещал во время своего путешествия<sup>42</sup>, и к «социальному пространству в национальном контексте»<sup>43</sup>. При этом вопросы о публичной и частной жизни/ пространства оказываются связанными с вопросом о национальном характере. В качестве примера пересечения публичного и частного пространства Кан рассматривает функцию памятников или руин: это те места, где путешественник вместе с читателем определяет свою идентичность, опираясь на «чувство, которое служит основой /.../ социальности, общества и нации, где публичная и частная идентичности соединяются»<sup>44</sup>. Следует отметить, что, анализируя поэтику

---

<sup>38</sup> Kahn A., "Introduction: Karamzin and the creation of a readership", p. 11.

<sup>39</sup> Ibid., p. 10.

<sup>40</sup> Ibid., p. 11.

<sup>41</sup> Habermas J., *The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, trans. T. Burger and F. Lawrence, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

<sup>42</sup> Kahn A., "Nikolai Karamzin's discourses of Enlightenment", p. 506.

<sup>43</sup> Ibid., p. 509.

<sup>44</sup> Ibid., p. 518.

повествования в «Письмах русского путешественника», Т.А. Алпатова также отмечает связь между «пространственной природой повествования», вниманием Карамзина к историческим, географическим и культурным реалиям и его стремлением создать или показать свободную европейски образованную личность и «в то же время нравственно самодостаточного русского человека екатерининского времени»<sup>45</sup>. Таким образом, помимо анализа философских и эстетических идей Карамзина в «Письмах русского путешественника» Кан осуществляет своего рода социологический анализ – анализ репрезентаций «социального пространства» нации (европейских наций, в данном случае).

Из приведенных выше работ для настоящего исследования актуальными являются работы Лотмана, охватывающие широкий общественный контекст, и его метод структурного противопоставления. Также имеют значения наблюдения Кана о связи пространства (социального) с представлениями Карамзина о национальных особенностях и о роли памятников и руин в конструировании памяти и национальной идентичности. Память, имеющая прямое отношение ко времени, и пространство, как будет показано, являются важными элементами в карамзинской поэтике нации. Также мы будем обращаться к идее Живова о связи сентиментализма с проблемой конструирования национального характера, поскольку она имеет непосредственное отношение к эмоциям, функции и значения которых требуют более детального рассмотрения. Исследования, в которых показывается связь между представлениями о нации у Карамзина с идеями романтизма, и то, что для Карамзина важен не столько рациональный элемент в понимании нации, сколько эмоциональный (Льюис, Раефф), доказывают важность постановки вопроса о роли эмоций в поэтике нации. Полезными также представляются идеи Лотмана, Хаммарберг и Шенле о проблематичном

---

<sup>45</sup> Алпатова Т.А., *Проза Н.М. Карамзина: поэтика повествования*, автореферат диссертации...доктора филологических наук, 10.01.01, Москва: 2012, с. 22.

соотношении правды и вымысла у Карамзина – они созвучны идее Андерсона о значимости воображения или текстов в понимании нации.

### **Время и пространство в поэтике нации**

Здесь стоит вернуться к идеям Б. Андерсона о роли литературы (и особенно романа) в воображении нации<sup>46</sup>. Он проводит различие между формальными условиями жанра, делающими возможным воображение сообщества как нации, и «тематизацией» нации в тексте, когда конкретная нация становится объектом изображения или темой произведения, или когда сюжеты, образы из литературного произведения могут использоваться в каких-либо идеологических целях<sup>47</sup>. По его мнению, формальные особенности – это, прежде всего, структура сюжета, организованного в соответствии с принципом «гомогенного пустого времени», в котором события объединяет главным образом то, что они происходят синхронно; репрезентация «пространства сообщества»<sup>48</sup>; повествование от третьего лица («всезнающий» повествователь); определенным образом конструируемый адресат – читатель (*the national*)<sup>49</sup>, который в процессе чтения «узнает» в тексте «символически означенное внешнее социальное пространство»<sup>50</sup> и идентифицирует себя как одного из членов общества, о котором в тексте идет речь. Общим для романа и нации является особая структура сознания, характеризуемая «синхронным видом темпоральности»<sup>51</sup>. Таким образом, роман моделирует некую абстрактную «форму» общества, которое затем концептуализируется как национальное<sup>52</sup>.

---

<sup>46</sup> Его идеи были использованы: Moretti F., *Atlas of the European Novel, 1800-1900*, London: Verso, 1998; Sommer D., *Foundational Fictions: The National Romances of Latin America*, Berkeley: University of California Press, 1991; Bhabha H.K., *Nation and Narration*, London: Routledge, 1990.

<sup>47</sup> Cheah Ph., “Grounds of Comparison”, in: *Grounds of Comparison: around the Work of Benedict Anderson*, J. Culler and Ph. Cheah (eds.), NY: Routledge, 2003, p. 7.

<sup>48</sup> Culler J., “Anderson and the Novel”, in: *Grounds of Comparison...*, p. 36.

<sup>49</sup> О критике конструирования адресата как *the national* у Андерсона см.: Culler J., *Op. cit.*, p. 37-41.

<sup>50</sup> Cheah Ph., “Grounds of Comparison”, p. 7.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> О проблеме возникновения романа, определения жанра и его связи с модерностью, роли переводов в развитии национальных литератур, артикулировании национальной идентичности и культурного взаимодействия см.: *Remapping the rise of the European novel*, J. Mander (ed.),

Целью Андерсона было показать формальные условия для воображения нации как анонимного сообщества. Поэтому он подчеркивал важность различия между пониманием «формальной репрезентации времени и пространства» и «репрезентацией [конкретного] сообщества нации» в романе<sup>53</sup>. В этом отношении интересно то, что Кан обращает внимание именно на специфику репрезентации и значение «социального пространства» конкретных европейских наций, но при этом, как и Андерсон, разделяет в целом представление о важности памятников, истории и поиска корней для воображения себя частью национального сообщества.

Таким образом, для выяснения специфики поэтики нации в текстах Карамзина важно определить в них значения пространства и времени. Особенность Карамзина в этом контексте заключается в том, что он не создавал романов, в которых реализовывалось бы «социальное» пространство русской нации (Андерсон анализирует именно романы). Однако представляется, что нация может воображаться не только в романах, но и в других литературных жанрах. И хотя формальные условия нероманных жанров не способствуют воображению «модерной» нации в понимании Андерсона (сообщество анонимных людей, движущееся в пустом гомогенном времени), тем не менее, они артикулируют другие ее важные элементы. Каким образом это происходит, как раз и рассматривается в настоящей работе.

Пространство и время в ней будут анализироваться, прежде всего, с точки зрения их семиотических особенностей. Для этого подхода представляется важной концепция художественного пространства Лотмана, который понимал пространство в художественном тексте не только как модель естественного географического пространства, но и как

---

Oxford: Voltaire foundation, 2007:10. В сборнике представлены статьи, во многих из которых анализ различных вопросов в связи с жанром романа произведен с использованием социологического подхода и исследований книжного рынка и социологии чтения.

<sup>53</sup> Впрочем, Каллер отмечает, что Андерсону самому не всегда удавалось придерживаться предложенного им различия между «формальными» условиями «воображения» и пространством конкретной нации (см.: Culler J., "Anderson and the Novel", p. 47).

пространство, которое может «моделировать разные связи картины мира: временные, социальные, этические и т.п.»<sup>54</sup>. С его точки зрения, «язык пространственных отношений оказывается одним из основных средств осмысления действительности» и занимает важное место в политической, религиозной и т.д. модели мира (например, оппозиция «высокий – низкий», «близкий – далекий» может совмещаться с оценочными характеристиками «ценный – неценный», «хороший – плохой»)<sup>55</sup>. Лотман аналитически разделял пространство и время, считая категорию пространства в тексте более важной, чем время<sup>56</sup>. Время он понимал в его связи с культурными представлениями, выраженными в тексте. Например, он отмечает важность «рамки» текста, т. е. его начала и конца, и ее возможную связь с разными культурными моделями (утопическими, эсхатологическими и т.п.)<sup>57</sup>.

Таким образом, представляется, что для понимания поэтики нации у Карамзина важен «язык пространственно-временных отношений»: оценочные характеристики, накладываясь на пространственно-временные, оказываются тесно связанными с различными характеристиками нации как воображаемого сообщества. Следует отметить, что в тексте нация может артикулироваться и как субъект (персонаж), и как пространство, а также в ней может

---

<sup>54</sup> Лотман Ю.М., «Проблема художественного пространства в прозе Гоголя», в: *Избранные статьи: статьи по семиотике и типологии культуры*, том 1, Таллинн: «Александра», 1992, с. 447.

<sup>55</sup> Лотман Ю.М., «Композиция словесного и художественного произведения», в: *Об искусстве*, Санкт-Петербург: «Искусство-СПб», 1998, с. 212.

<sup>56</sup> Лотман Ю.М., «Проблема художественного пространства в прозе Гоголя», с. 447.

<sup>57</sup> Лотман Ю.М., «Композиция словесного и художественного произведения», с. 203-211.

Бахтин, как хорошо известно, исследуя «взаимосвязь временных и пространственных отношений» в романе, также относил понятия времени и пространства к «содержательным» категориям и предложил их обозначать понятием «хронотопа» (см.: Бахтин М., *Эпос и роман*, Санкт-Петербург: Азбука, 2000, с. 9). В отличие от Лотмана, он рассматривал их как одно целое, отдавая, однако, приоритет категории времени (Там же, с. 11). Бахтин понимает время как событийное или время, в котором происходят события (см.: Юрасова Н.Г., «Проблемы методологии анализа художественного времени», в: *Филология. Искусствоведение. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского*, 2008, № 3, с. 255.).

Если Бахтин ставил вопрос о том, каким образом в произведении осмысляется реальное историческое время и пространство, и показывал зависимость жанров романа от различных хронотопов, то Лотмана больше интересовали семиотические аспекты времени в разных текстах.

подчеркиваться временной аспект. Например, как субъект нация может быть активной («оказывает политическое влияние») или пассивной (повествователь способствует распространению культуры в ней). Пространство с различными природными и социальными характеристиками может соответствовать «варварской» или «просвещенной» нации. Нации могут противопоставляться и по временному признаку: «молодая» vs «старая»; идеальное состояние нации может мыслиться как уже бывшее в прошлом или как состояние, которое должно быть достигнуто в будущем и т. д. При этом все перечисленные аспекты тесно взаимосвязаны между собой.

Кроме того, следует отметить, что особую роль в «моделировании» или воображении нации играет пейзаж, являющийся частной «конкретизацией» пространства<sup>58</sup>. В работе разделяется идея о том, что изображение пейзажа в литературном тексте не является «нейтральным», но в определенных аспектах может соприкасаться с идеологией или политикой<sup>59</sup>, а значит, обладает «моделирующей функцией», то есть – в данном случае – задает определенное представление о некоем сообществе, здесь – нации. Такой подход к пониманию пейзажа у Карамзина представлен в различных исследованиях. Например, Сара Дикинсон напрямую связывает проблему изображения пейзажа в российских травелогах с вопросами конструирования национальной идентичности и прослеживает влияние Карамзина на других авторов<sup>60</sup>. Шенле показывает, каким образом

---

<sup>58</sup> О проблематизации понятий «пространства», «места» и «пейзажа» см., например: Lefebvre H., *Production of Space*, trans. by D. Nicholson-Smith, Oxford: Blackwell, 1991; De Certeau M., *The Practice of Everyday Life*, W.J.T. Mitchell (ed.), Berkeley: University of California Press, 1984.

<sup>59</sup> О связи пейзажа и идеологии см.: Bermingham A., *Landscape and Ideology: The English Rustic Tradition, 1740-1860*, Berkeley: University of California Press, 1986; *Landscape and Power*, W.J.T. Mitchell (ed.), 2-nd edition, Chicago: The Chicago University Press, 2002.

<sup>60</sup> Она считает, что перед авторами российских травелогах стояла задача таким образом изобразить «домашнее пространство», чтобы оно одновременно было и «эквивалентным заграничному» и «русским, то есть связанным с особенной историей, национальной идентичностью и литературной традицией». Роль «Писем русского путешественника» Карамзина она видит в том, что этим произведением он способствовал созданию «идиллического взгляда на Россию, который затем культивировался в домашних травелогах», а также развитию идей о культурной независимости России от Запада (см.: Dickinson S., *Breaking*

живописный пейзаж у Карамзина, с одной стороны, связан с модерностью, а с другой – с его «консервативными» представлениями о нации<sup>61</sup>.

Итак, для настоящей работы самой важной функцией пространства (в частности, пейзажа как его «конкретизации») и времени является их «способность» посредством «языка пространственно-временных отношений» характеризовать нацию как воображаемое сообщество.

### **Нация как «эмоциональное сообщество»**

Как будет показано, в конструировании нации как воображаемого сообщества, помимо пространства и времени, особенно важную роль играет дискурсивный характер эмоций, то есть определенные модусы эмоционального восприятия, эмоциональное отношение субъекта к «своему» сообществу и к «другому», задаваемые в различных текстах. Для рассмотрения того, каким образом в карамзинских текстах конструируется нация как эмоциональное сообщество, важно учитывать следующий теоретический контекст.

Роль эмоций в культуре и политике с интересующей нас точки зрения изучается в *Cultural Studies*, в направлении, которое принято называть *affective turn*<sup>62</sup>. Одна из особенностей данного направления – это «повышение статуса» исследований роли эмоций в политике. Если раньше в подобных исследованиях акцентировалась ее рациональная, когнитивная сторона (например, в проблематике принятия политических решений), то в настоящее время все большее внимание уделяется роли

---

*Ground: Travel and National Culture in Russia from Peter I to the Era of Pushkin*, Amsterdam-NY: Rodopi, 2006, p. 107).

<sup>61</sup> Schönle A., *The Ruler in the Garden: Politics and Landscape Design in Imperial Russia*, Bern: Peter Lang, 2007, p. 219-239. О патриотизме у Карамзина рассуждает и Кристофер Элай, проблематизируя его отношение к «природным красотам» России (см.: Ely Ch., *This Meager Nature: Landscape and National Identity in Imperial Russia*, DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 2002, p. 3, 33, 48-51).

<sup>62</sup> *The Affective Turn: Theorizing the Social*, P. Clough Ticineto and J. Halley (eds.), Durham & London: Duke University Press, 2007; *The Affect Theory Reader*, G.J. Seigworth and M. Gregg (eds.), Durham & London: Duke University Press, 2010.

эмоций в ней. При всей разности подходов к этой теме и способов ее концептуализации можно отметить интерес ученых к политическому аспекту эмоций. К примеру, учитывается не только их влияние на социально-политические движения, но также такой их аспект, как перформативность – эмоциональное конструирование объекта/ субъекта, на который направлена эмоция, то есть наделение его определенными эмоциональными характеристиками (позитивными/ негативными и т. д.)<sup>63</sup>. Таким образом, воображение «нации», «врага», «своего», «чужого» и т. д. связывается не только с когнитивными оценками, но и задействует палитру эмоций. В некоторых исследованиях ставится вопрос о том, каким образом «переживается» политическая идентичность или приверженность к определенному социальному движению. Способы переживания и «организации» эмоций описываются с помощью понятий «ритуала», «сценария», «метафоры», «нарратива», «сюжета»<sup>64</sup>. Сиан Нгай, например, исследует эстетику таких негативных эмоций, как зависть, беспокойство, раздражение в различных культурных артефактах, подчеркивая их «политически двусмысленную работу»<sup>65</sup>.

Несмотря на определенные различия в подходах к анализу эмоций, в исследованиях по этой теме преобладает конструктивистский подход. Он характеризуется отказом от дихотомии чувства и разума, а также идеей о том, что эмоции не находятся в строгом смысле «внутри» индивидуума: их положение определяется позицией «между» и является

---

<sup>63</sup> Athanasiou A., Hantzaroula P., Yannakopoulos K., “Towards a New Epistemology: The 'Affective Turn'”, *HISTOREIN*, 2008, vol. 8, p.3. О перформативности см.: Austin J. L., *How to Do Things with Words*, 2-nd edition, Oxford: Oxford University Press, 1975; Reddy M.W., *The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

<sup>64</sup> Kane A., “Finding Emotion in Social Movement Processes: Irish Land Movement Metaphors and Narratives”, in: *Passionate Politics: Emotions and Social Movements*, J. Goodwin, J.M. Jasper, F. Poletta (eds.), Chicago: The University of Chicago Press, 2001, p. 251-266; Berezin M., “Emotions and Political Identity: Mobilizing Affection for the Polity”, in: *Passionate Politics...*, p. 83-98. Ричард Уортман подробно описывает эмоциональную составляющую сценария власти (см.: Уортман Р. С., *Сценарии власти: мифы и церемонии русской монархии*, том 1, 2, Москва: О. Г. И., 2004).

<sup>65</sup> Ngai S., *Ugly Feelings*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2005, p. 1. Исследовательница приводит в пример наблюдение Паоло Вирно о страхе или беспокойстве или о том, каким образом один из «классических [негативных] аффектов» капитализма (страх потерять работу, неуверенность в заработанных привилегиях в системе наемного труда), грозящий социальной дестабилизацией, интегрируется в «функциональное требование», «профессиональный идеал» гибкости, приспособляемости и т.д. (*Ibid.*, p. 4).

результатом социального и культурного взаимодействия<sup>66</sup>. Таким образом, «между» и «взаимодействие» играют ключевую роль в понимании специфики функционирования эмоций. Крэйг Калхоун использует понятие «эмоционального габитуса», по аналогии с «габитусом» Бурдьё, являющимся результатом «встроенности индивидуума в социальную сеть отношений»<sup>67</sup>.

Этот аспект эмоций – их нахождение «между» – наиболее подробным образом исследует Сара Ахмед. В своей работе «Культурная политика эмоций»<sup>68</sup> она предлагает подход, позволяющий исследовать роль эмоций в конструировании различных сообществ (например, нации или расы). Главная ее мысль сводится к тому, что мы определенным образом реагируем на других не потому, что другие сами в себе содержат причину нашей конкретной реакции, а потому, что в результате аффективной встречи с «Другим» мы наделяем его теми или иными, позитивными или негативными характеристиками и фактически реагируем не на «Другого», а на созданный нами самими его образ.

Она ставит вопрос о том, каким образом эмоции «создают» индивидуальных и коллективных субъектов, то есть – о способах, которыми они их соединяют или разъединяют. По ее мнению, главная особенность работы эмоций – это конструирование общности или различий, идентификации с одними субъектами и деидентификации с другими<sup>69</sup>. Она определяет сообщества как *аффективные*, то есть как те, которые создаются в результате циркуляции эмоций, и в определении сообщества часто использует метафору тела. С ее точки зрения, в процессе «прочтения эмоций» посредством конструирования привязанностей или различий создаются как индивидуальные тела, так и коллективные – например, нация. Употребляя словосочетание «прочтение эмоций», исследовательница подчеркивает участие представлений,

---

<sup>66</sup> Calhoun C., “Putting Emotions in Their Place”, in: *Passionate Politics...*, p. 53.

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Ahmed S., *Cultural Politics of Emotions*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.

<sup>69</sup> Ibid., p. 7.

когнитивных, оценочных процессов, культурных, социальных клише в «интерпретации» эмоционального контакта<sup>70</sup>.

Кроме того, она подчеркивает важность понятия границы между телами, которая, с ее точки зрения, конструируется самими эмоциями. Эту границу можно ощутить только при эмоциональном контакте или встрече. Ахмед пишет, что субъект ощущает, что у него есть «поверхность» или кожа, если сталкивается с другим объектом. Она приводит в пример боль: когда человек ударяется о что-нибудь, он чувствует дискомфорт, начинает ощущать «поверхность» тела через боль. В этот момент он «прочитывает» ощущение как «мне больно», наделяя его негативной оценкой. «Ощущение поверхности как болезненной» является причиной реконфигурации пространства: человек отходит от объекта, который причинил боль. Аналогичным образом эмоции функционируют в «конструировании» других «тел»<sup>71</sup>.

Для настоящей работы важна идея Ахмед об «эмоциональности текста», то есть о том, каким образом различные эмоции в тексте наделяются наименованиями. Она подчеркивает, что исследует не эмоции «в» тексте, а «эффекты наименования эмоций»<sup>72</sup>. Исследовательница задает вопрос о том, что значит давать определение эмоции, и отвечает, что разные наименования эмоций подразумевают различную «ориентацию по отношению к объекту». Например, если что-то или кто-то определяется как «ненавистный», то в таком случае «действия ненависти направляются против него»<sup>73</sup>. Таким образом, она исследует не то, чем являются эмоции, а «что они делают», как они работают в различных дискурсах<sup>74</sup>.

Такой подход представляется особенно продуктивным для анализа того, как конституируется аффективное сообщество в политических статьях Карамзина, поскольку речь в них часто идет о различных

---

<sup>70</sup> Ibid., p. 25.

<sup>71</sup> Ibid., p.24.

<sup>72</sup> Ibid., p. 13.

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Ibid., p. 4.

аффективных контактах с «Другим», которые получают различные наименования в тексте.

Аффективное сообщество также можно назвать и эмоциональным. Понятие «эмоционального сообщества» впервые предложила Барбара Розенвейн<sup>75</sup>, работающая в русле направления, изучающего историю эмоций в культуре, связь эмоционального поведения человека и культуры и способы выражения эмоций в различных типах текстов<sup>76</sup>. В этом направлении, соответственно, внимание к политическому аспекту эмоций ослаблено. Розенвейн исследует эмоциональные сообщества в эпоху средневековья и определяет их как «группы людей, у которых есть общая цель, интересы и ценности»<sup>77</sup>. Исследовательница подчеркивает, что это – социальные сообщества, разделяющие, говоря словами Фуко, «общий дискурс»: «общий лексикон, способы мышления, которые выполняют функцию контроля и дисциплинирования»<sup>78</sup>. Одновременно в обществе может существовать несколько разных «эмоциональных сообществ», имеющих разные стили поведения и способы чувствования. Цель ее исследования – показать, как «ощущали» себя некоторые сообщества средневековья, какими были в них «нормы эмоциональности» и как в них оценивались и интерпретировались определенные эмоции. И в этом смысле фокус ее исследования значительно отличается от Ахмед, целью которой является показать именно дискурсивную природу эмоций, эмоции в действии, то, как формируются индивидуальные и коллективные «тела» в результате «прочтения» эмоций. Ахмед не пытается установить, как «реально» ощущает себя определенное сообщество.

Следует подчеркнуть, что в настоящей диссертационной работе не является столь существенным вопрос, свидетельствуют ли изображаемые

---

<sup>75</sup> Rosenwein B.H., *Emotional communities in the early Middle Ages*, New York: Cornell University Press, 2006.

<sup>76</sup> О культурной истории отдельных эмоций см., например: Miller I.W., *The Anatomy of Disgust*, Cambridge: Harvard University Press, 1997; Spacks Meyer P., *Boredom: The Literary History of a State of Mind*, Chicago, London: The University of Chicago Press, 2004.

<sup>77</sup> Rosenwein B., *Emotional communities...*, p. 24.

<sup>78</sup> *Ibid.*, p. 25.

эмоции в текстах Карамзина о существовании реального эмоционального сообщества с характерным для него эмоциональным репертуаром. Можно согласиться с мнением Розенвейн, что хотя сложно установить, какие эмоции испытываются в реальности (автором, обществом), однако наличие в тексте описания каких-либо эмоциональных переживаний, реакций, знаков, вне зависимости от степени их искренности или неискренности, указывает на то, что автору они представляются *возможными* в действительности<sup>79</sup>. В этой работе акцент будет ставиться на рассмотрении нации как *воображаемого эмоционального сообщества*, конструируемого в *самых текстах*.

Напрямую к теме эмоций у Карамзина обращался Андрей Зорин. Он отмечает важность открытия «чувствительности» вообще во второй половине XVIII в., или «способности наслаждаться созерцанием собственных эмоций», а также значимость представленной в «Бедной Лизе» идее о том, что и без нормативной морали «чувствительность сама по себе способна отличить добро от зла»<sup>80</sup>. В контексте настоящей работы важнее другое наблюдение Зорина о связи эмоций и воображения (над)национального сообщества у Карамзина. Анализируя «Письма русского путешественника», он отмечает, что «образцы чувствования» Карамзиным были взяты из книг, которые служили для него моделью восприятия и эмоционального отношения к миру. Зорин пишет, что чтение «одних и тех же сочинений гарантировало распространение единых моделей чувства поверх национальных барьеров и государственных границ»<sup>81</sup>. С его точки зрения, в описываемом Карамзиным городе Кале возникает «символическое» «панъевропейское»

---

<sup>79</sup> Ibid., p. 28-29.

<sup>80</sup> Зорин А.Л., Немзер А.С., «Парадоксы чувствительности: Н.М. Карамзин “Бедная Лиза”», в: «Столетия не сотрут...»: русские классики и их читатели, Москва: «Книга», 1989, с. 13.

<sup>81</sup> Зорин А., «Импорт чувств: к истории эмоциональной европеизации русского дворянства», в: *Российская империя чувств: подходы к культурной истории эмоций. Сб. статей*, под ред. Я. Плампера, Ш. Шахадат, М. Элли, Москва: Новое литературное обозрение, 2010, с. 120. О роли сентименталистской литературы как руководства по восприятию действительности также говорит Лотман: «...словесный, литературный пересказ, описание необходимы Карамзину для того, чтобы тонко чувствовать» (Лотман Ю.М., «Письма русского путешественника», в: *Карамзин*, с. 487).

воображаемое сообщество, объединенное чтением «Сентиментального путешествия» Стерна, и состоящее из «двух англичанок, французского офицера и начинающего русского писателя»<sup>82</sup>. «Общие образцы чувствования» объединяют людей в одно «сообщество»<sup>83</sup>.

Мария Майофис в контексте рассуждения о специфике нарратива о пожаре Зимнего дворца 1837 обращает внимание на особую роль его эмоциональной составляющей (позволяющей «создать образ нации, объединенной всеобщей символической и эмоциональной сопричастностью подданных своему императору»<sup>84</sup>) и отмечает влияние Карамзина на используемую авторами отзывов о пожаре эмоциональную риторику (описание различных «коллективных эмоций» и подчеркивание особой эмоциональной связи между монархом и подданными). Если Зорин выделял объединяющую функцию эмоций у Карамзина, то Майофис отмечает наличие «эксклюзивистских конструкций»<sup>85</sup>.

Учитывая вышеизложенное, представляется необходимым показать на более широком материале, каким образом в текстах Карамзина функционируют эмоции, участвующие в конструировании сообщества как нации.

### **Имперская проблематика и «воображении» нации в текстах Карамзина**

В конструировании нации как эмоционального сообщества в текстах Карамзина важную роль играет спектр эмоциональных реакций, прямо или косвенно связанных с империей.

Имперская проблематика в творчестве Карамзина систематически не исследовалась – анализировались его взгляды на самодержавие и крепостное право, которые в традиции советского литературоведения получали крайне негативную оценку, а сам Карамзин оценивался как

---

<sup>82</sup> Зорин А., «Импорт чувств: к истории эмоциональной европеизации ...», с. 118.

<sup>83</sup> Там же, с. 121.

<sup>84</sup> Майофис М., «Чему способствовал пожар? “Антикризисная” российская публицистика 1837-1838 годов как предмет истории эмоций», *Новое литературное обозрение*, № 100, 2009, с. 157.

<sup>85</sup> Там же, с. 166-167.

«консервативный, сословно ограниченный дворянский писатель»<sup>86</sup>, представитель «русского дворянского сентиментализма»<sup>87</sup> и противопоставлялся Радищеву, Крылову, Фонвизину<sup>88</sup>.

Эва Томпсон в своей работе «Трубадуры империи. Русская литература и колониализм», главной темой которой является «процесс формирования России как могущественного государства в русском культурном дискурсе»<sup>89</sup>, ставила цель показать роль империалистических, репрессивных структур в русской культуре. Она считает, что «История государства Российского» Карамзина «была первым шагом в направлении» создания «текстуальной империи»<sup>90</sup>, суть которой якобы сводится к поддержанию имперских притязаний России<sup>91</sup>. Представляется, что ее работа в высшей степени предвзята – пытаясь показать идеологическую ангажированность российской культуры, она сама попадает в ту же идеологическую ловушку<sup>92</sup>.

Андреас Шенле затрагивает тематику империи в карамзинской «Бедной Лизе». Анализируя амбивалентный образ Москвы, он отмечает, что, с одной стороны, Москва символизирует «древнюю», ассоциирующуюся с национальными традициями, Россию, а с другой – он характеризует Москву как имперскую, находящуюся в неравномерных отношениях с окраинами империи и поэтому символизирующую «новую

---

<sup>86</sup> Западов А.В., «Н.М. Карамзин», в: *Русская проза XVIII века*, Москва-Ленинград: Государственное издательство художественной литературы, 1950, с. 225.

<sup>87</sup> Там же, с. 226. Та же идея выражена у Г. Макогоненко во вступительной статье к сборнику «Русская проза XVIII века», с. VIII-X.

<sup>88</sup> Его творчество в советской традиции оценивалось с позиции выражения «классовых» интересов. В этом случае народ понимался как население страны, преимущественно крестьянство, противопоставленное власти имущей элите и ею угнетаемое, а основной акцент ставился на отношениях между «классами».

<sup>89</sup> Thompson E. M., *Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm*, przekł. A. Sierszulaska, Kraków: UNIVERSITAS: 2000, p. 23.

<sup>90</sup> Ibid., p. 89.

<sup>91</sup> Ibid., p. 92.

<sup>92</sup> По словам Сьюзан Лэйтон, исследование Томпсон представляет скорее декларацию ее веры, чем полезные подходы или наработки для дальнейших исследований в области русистики (см.: Layton S., “Review”, *The Russian Review*, Blackwell Publishing: vol. 60, № 1, (Jan. 2001), p. 115-116).

Россию»<sup>93</sup>. О ее «имперскости» свидетельствует не только «эксплуатация» окраин, но и наличие более тонкой связи с реалиями новой просвещенной России, взявшей курс на Европу – просвещение неким образом «разрушает» национальные традиции.

Далее возникает закономерный вопрос, каким образом у Карамзина соотносятся категории нации и империи. Следует отметить, что вопрос о соотношении нации и империи является актуальным для целого ряда исследований. Например, одна из главных тем научного сборника *Ab imperio*, посвященного имперской истории и национализму в постсоветском пространстве, – исследование соотношения «фундаментальной оппозиции “империя-нация”»<sup>94</sup>. При этом для различных исследований характерен ситуативный и контекстуальный подход, выражающийся в отказе видеть в империи механизм, основанный только лишь на отношениях «господства-подчинения и неравенства»<sup>95</sup>, а также отказ от жестких бинарных оппозиций «свой-иной», «метрополия-колония». В (них) исследованиях ставится акцент на коммуникативных процессах, социальном и политическом взаимодействии и обмене опытом разных участников имперской ситуации, а также процессах формирования «многоуровневых идентичности/ -ей»<sup>96</sup>. В целом для этих исследований характерна проблематизация нации и империи как аналитических категорий или парадигм в социальных и исторических науках.

Возвращаясь к Карамзину, можно согласиться с замечанием Алексея Миллера о том, что нация и империя не являются несовместимыми категориями. В качестве доказательства Миллер приводит мнение писателя, высказанное в «Письме русского гражданина» (1818) по поводу идеи Александра I отдать Царству

---

<sup>93</sup> Шенле Андреас, «Между “древней” и “новой” Россией: руины у раннего Карамзина как место modernity», *Новое литературное обозрение*, 2003, № 59, с. 129.

<sup>94</sup> От редакции, «Имперское общество как продукт воображения *homo imperii*», *Ab Imperio*, Казань: Б/и 4/2009, с. 11.

<sup>95</sup> Там же.

<sup>96</sup> Там же, с. 13.

Польскому территории современной Правобережной Украины, Белоруссии и Литвы. Карамзин категорически против этого, но в его аргументах отсутствует, как говорит Миллер, самый главный националистический аргумент – то, что на этих территориях живут белорусы, русские и малорусское население<sup>97</sup>. Таким образом, для Карамзина вопрос о «самоопределении нации» за счет «ропуска» империи не имеет смысла.

Представляется верным мнение, что «не существует особого имперского языка самоописания, отличного от национального нарратива: одни и те же тропы и символы используются в разных ситуациях, с разным результатом»<sup>98</sup>. Более того, связь между империей и нацией обнаруживается и на более тонком уровне. Л.В. Пумпянский говорил, что государство было главной темой поэзии XVIII века<sup>99</sup>, а сама поэзия родилась «/.../ когда восторг перед Западом вдруг (взрыв) перешел в восторг перед собой как западной страной. /.../ Именно с ним, т. е. с восторженным исповеданием себя, связано пробуждение ритма в языковом сознании»<sup>100</sup>. Пумпянский этот *восторг* связывает с одой М.В. Ломоносова «На взятие Хотина» (1739). У Карамзина же факт существования империи, тесно ассоциирующийся с самодержавной властью, также является объектом гордости в патриотическом дискурсе. Поэтому можно говорить о своего рода имперской «составляющей» поэтики нации, которую нельзя не учитывать при анализе<sup>101</sup>.

---

<sup>97</sup> Миллер А., «Империя и нация в воображении русского национализма. Взгляд историка», лекция, 14 апреля 2005 г., в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру»: <http://www.polit.ru/article/2005/04/14/miller/> (15 марта 2012 г.).

<sup>98</sup> «Что такое „новая имперская история“, откуда она взялась и к чему она идет?»: беседа с редакторами журнала *Ab Imperio* Ильей Герасимовым и Мариной Могильнер», *Логос* 1 (58), 2007, с. 228.

<sup>99</sup> Пумпянский Л.В., «К истории русского классицизма», в: *Классическая традиция: собрание трудов по истории русской литературы*, под ред. А.П. Чудакова, сост. Е.М. Иссерлин, Н.И. Николаев, Москва: Языки русской культуры, 2000, с. 60.

<sup>100</sup> Там же, с. 54.

<sup>101</sup> О различных подходах к изучению империи см., например: Norkus Z., *Nepasiskelbusioji imperija: Lietuvos Didžioji Kunigaikštija lyginamosios istorinės imperijos sociologijos požiūriu*, Vilnius: Aidai, 2009, p. 75-203. О различных подходах к изучению Российской империи см.: *Российская империя в зарубежной историографии: работы последних лет: Антология*, сост. П. Верт, П. Кабытов, А. Миллер, Москва: Новое издательство, 2005.

Каким образом можно концептуализировать «имперскую составляющую» в текстах Карамзина? Сначала следует коротко остановиться на том, каким образом рассматривалась проблематика империи в русской литературе и культуре.

В анализе проблематики империи в русской литературе и культуре можно выделить 3 подхода. Первый из них опирается на концепцию ориентализма Эдварда Саида в применении к российской ситуации (Александр Эткинд, Сьюзан Лейтон). Суть ориентализма как сложного комплекса знания и власти<sup>102</sup> – конструирование образов Востока, претендующих на его описание как онтологической данности, «формируя высказывания о Востоке, его описывая и санкционируя определенную точку зрения на него»<sup>103</sup>, зачастую наделяя его пейоративными атрибутами, что, в свою очередь, использовалось для оправдания имперской политики Англии и Франции<sup>104</sup>. А. Эткинд, используя понятийный аппарат, разработанный Саидом, анализирует структуру некоторых сюжетов русской литературы<sup>105</sup> в контексте российской колониальной политики, опираясь на понятие внутренней колонизации, или «самоколонизации», при которой объектом колонизации становится

---

<sup>102</sup> См. некоторые работы, исследующие проблему колониализма и формирования комплекса знания/власти: Pratt M.L., *Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation*, London and New York: Routledge, 1992; Richards T., *The Imperial Archive: Knowledge and the Fantasy of Empire*, London, New York: Verso, 1993; Spurr D., *Rhetoric of Empire: Colonial Discourse in Journalism, Travel Writing and Imperial Administration*, Durham, London: Duke University Press, 1993; Azim F., *The Colonial Rise of the Novel*, London, New York: Routledge, 1993; Hargreaves A.G., *The Colonial Experience in French Fiction: a Study of Pierre Loti, Ernest Psichari and Pierre Mille*, London, Basingstoke: The Mackmillan Press, cop. 1981; Yegenoglu M., *Colonial Fantasies: Towards a Feminist Reading of Orientalism*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998; Cooper F., *Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History*, Berkeley: University of California Pr., cop. 2005; Nordquist J., *Postcolonial Theory: a Bibliography*, Santa Cruz CA: Reference and research services, 1998.

<sup>103</sup> Said E.W., *Orientalizmas*, iš anglų k. vertė V. Davoliūtė ir K. Seibutis, Vilnius: Apostrofa, 2006, p. 29.

<sup>104</sup> А «империализм», как говорит Саид, связан с «практикой, теорией и способами обращения доминирующего центра метрополии по отношению к управляемым им дальним территориям» (Said E.W., *Culture and Imperialism*, New York: Knopf, 1993, p. 9).

<sup>105</sup> Например, Эткинд рассматривает сюжет «Капитанской дочки» в контексте внутреннего ориентализма. Гринев – «слабый» представитель культуры и империи; Машенька – «русская красавица»; Пугачев – «мудрый» представитель народа. Восстание Пугачева Эткинд приравнивает колониальным восстаниям; а спасение Машеньки демонстрирует восстановление и «жизнеспособность» колониального или имперского порядка (см.: Эткинд А., «Народ в русской политической культуре и литературе 19-го века: Роман внутренней колонизации», *Новое литературное обозрение*, Москва, 2003, № 59, с. 117-118).

не колония, отделенная от метрополии четкими границами – расстоянием, расовыми, языковыми отличиями, а собственный народ, отделенный от нее, главным образом, классовыми и культурными различиями<sup>106</sup>. С. Лейтон в своей работе «Русская империя и литература» также применяет идеи Саида для анализа «кавказской темы» в русской литературе. При этом Кавказ рассматривается ею как российский «Другой», или внутренний, «собственный» Ориент», который, с ее точки зрения, играл важную роль в формировании русской культурной идентичности<sup>107</sup>.

Здесь важно отметить связь империи, просвещения и модерности. Выше уже упоминалось, что Шенле связывает проблематику империи в «Бедной Лизе» с просвещением и модерностью. Следует добавить, что в работе Лейтон также отмечается связь между имперским проектом и просвещением. С одной стороны, русские писатели участвовали в формировании имперского дискурса (ориентализация Кавказа посредством использования устоявшихся метафор, образов и т.д.), однако с другой стороны, в их текстах также выражалось противостояние собственной имперской власти. Одной из идеологических основ российского имперского проекта, помимо защиты южных границ, было представление о России как о европейской державе, которая выполняла роль цивилизатора, носительницы культурных ценностей на Кавказе, народы которого, соответственно, определялись как «дикие». И в этом смысле Россия вписывалась в просвещенческую парадигму. Однако вопрос о «правомерности кровавого завоевания во имя европейской цивилизации» вызывал этические сомнения в правомерности военных действий России в Кавказском регионе<sup>108</sup>. Романтическое отождествление лирического героя с «дикими», с их «вольностью», «свободой», «страстями», восхищение дикой природой, горами, ассоциировавшимися

---

<sup>106</sup> Там же, с. 109.

<sup>107</sup> Layton S., *Russian Literature and Empire: Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy*, UK: Cambridge University Press, 1994, p. 1.

<sup>108</sup> Ibid., p. 109.

с духовностью (см., например, анализ «Кавказского пленника» Пушкина), подразумевало имплицитную критику царской власти. Как показывает Лейтон, отождествление с «вольностью» «диких» у лирического героя происходило тем более охотно на фоне отсутствия политической свободы при царском режиме и являлось своего рода сопротивлением просвещенческому проекту.

Интересно отметить параллель в русских и английских (преимущественно) романтических произведениях в контексте их взаимоотношений с имперским дискурсом. Кавказ в российской ситуации являлся своего рода аналогом «точек времени» (*spot of time*), противостоящих модернизационным имперским процессам в Британии, о которых пишет Сари Макдиши. Ученый в своем исследовании анализирует английский романтизм как литературное течение (Джордж Байрон, Перси Шелли, Уильям Вордсворт, Уильям Блэйк и др.) в контексте становления Британской империи и уделяет особое внимание процессам модернизации. Романтизм, учитывая его внутреннюю неоднородность и гетерогенность, рассматривается, с одной стороны, как «реплика» на модернизационные процессы, а с другой – как конститутивная часть этого процесса<sup>109</sup>. Главным объектом его анализа становится исследование того, каким образом в текстах выражается сопротивление «культуре модернизации»<sup>110</sup>. Автор подчеркивает, что в современных работах империализм часто анализируется «вне более широкого процесса модернизации»<sup>111</sup>. А он как раз и уделяет наибольшее внимание этой связи. Под модернизацией он понимает: разрушение традиционного семейного и социального производства; индустриализацию; эмиграцию в колонии; урбанизацию; формирование нового ощущения «абстрактного» пространства и «секулярного», «эволюционного», механистического времени (благодаря которому

---

<sup>109</sup> Makdishi S., *Romantic Imperialism: Universal Empire and the Culture of Modernity*, Cambridge: Cambridge University Press: 1998, p. 10.

<sup>110</sup> Ibid., p. 9.

<sup>111</sup> Ibid., p. 180.

становится возможным сравнивать различные культуры, расположенные вдоль временной оси в терминах различных стадий эволюционного развития); стремление к гомогенизации. Макдиши подчеркивает, что «модернизация /.../ может быть понята как чистая форма империализма»<sup>112</sup>, которая касается не только глобального уровня политики, но также и повседневной жизни. Сопrotивление модернизации в текстах выражалось, например, следующим образом: конструирование Оpиента как «альтернативного, синхронного»<sup>113</sup> и принципиально «антимодерного» пространства<sup>114</sup>, позволяющего критиковать европоцентристский модернизационный проект (у Байрона); конструирование «точек времени» (*spots of time*) как особых пространственно-временных образований, характеризующихся «своими собственными уникальными структурами чувствования и отличной темпоральностью», темпоральностью, которая нарушает логику «последовательного, прогрессивного течения времени»<sup>115</sup> (природа у Вордсворта); противостояние системе «универсальной империи», которая стремится «поглотить в себя весь мир», «переопределяя все его пространство на своих собственных основаниях»<sup>116</sup> (у Блэйка).

Таким образом, исследования Лейтон и Макдиши показывают, что литература не только участвовала в продуцировании имперского дискурса, но и что сопротивление ему было конститутивной частью поэтики текстов. При этом тексты сами становились частью дискурсивных практик, происходивших в имперском контексте. Одной из главных методологических предпосылок их работ является мысль о том, что отношения между текстом и «реальностью» не миметичны; оба исследователя подчеркивают конструктивный аспект в создании «образов». Если в российской ситуации в литературе выражалось

---

<sup>112</sup> Ibid., p. 182.

<sup>113</sup> Ibid., p. 128.

<sup>114</sup> Ibid., p. 125.

<sup>115</sup> Ibid., p. 12-15.

<sup>116</sup> Ibid., p. 19. О неоднозначном соотношении просвещения и империи см. также: Sankar M., *Enlightenment against Empire*, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2003.

противостояние представлению о цивилизаторской миссии России (проблема примирения с завоеваниями) или царской власти, ограничивающей политическую свободу, то в английской литературе больше выражалось неприятие индустриализации страны.

Этим идеям оказывается созвучно понятие Жана Брейяра «локализованная утопия», которым он характеризовал предместье в русской литературе сентиментализма как место ухода от цивилизации<sup>117</sup>. Идея модерности, как будет показано в настоящей работе, также важна для анализа специфики конструирования эмоционального сообщества в текстах Карамзина.

Второй подход сосредоточивается на рассмотрении мифологической или символической стороны имперской власти. Ричард Уортман исследовал символические значения дворцовых церемоний в России или способы репрезентации имперской власти, используя в качестве аналитической категории понятие «сценария власти»<sup>118</sup>. А. Зорин, исследуя идеологию российской международной политики последней четверти XVIII – начала XIX в., анализирует функционирование идеологических символов или идеологических метафор в русской культуре и их связь с политикой<sup>119</sup>. В работе Веры Проскуриной ставится вопрос о том, каким образом концептуализировалась имперская власть в литературе, каким образом имперские символы, взятые из европейской культуры, функционировали в русской среде. Она осуществляет это посредством анализа политических метафор, понимаемых как «стратегия политического дискурса, использующая для фабрикации “образа власти” мифологические проекции»<sup>120</sup>. Для всех этих подходов в большей или

---

<sup>117</sup> Breuillard J., «L'espace sentimentaliste», *Modernités russes: L'archaïsme dans la modernité*, 1999, № 1, p. 23.

<sup>118</sup> Уортман Р. С., *Сценарии власти...*, том 1, с. 22. Понятие «сценария» основывается на определенном мифе и имеет конкретный сюжет.

<sup>119</sup> Зорин А., *Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети 18 в. – первой трети 19 в.*, Москва: Новое литературное обозрение, 2004.

<sup>120</sup> Проскурина В., *Мифы империи: литература и власть в эпоху Екатерины II*, Москва: Новое литературное обозрение, 2006, с. 8. Мифотворчество, прежде всего, было связано с вопросами

меньшей степени характерна концептуализация связи между имперской властью и текстом посредством понятия дискурса, предложенного Фуко. С одной стороны, дискурс связан с насильственным характером власти: различные процедуры организации дискурса подразумевают властные отношения – идеологию или идею, в интересах которых определенные вещи входят в дискурс, а другие отбрасываются. С другой стороны, согласно подходу Фуко, наиболее общим свойством дискурса является конструктивный аспект – способность конституировать или формировать, объекты<sup>121</sup>.

Для третьего подхода характерно внимание к поэтике произведений. В этом случае главной аналитической категорией становится понятие «возвышенного» (Харша Рам, Катерина Кларк). Именно эта точка зрения представляется наиболее продуктивной в подходе к изучению имперской составляющей поэтики нации в текстах Карамзина.

### **Категории возвышенного и прекрасного и их связь с «воображением» нации**

На категорию возвышенного у Карамзина в той или иной степени обращали внимание разные исследователи, прежде всего с точки зрения влияния эстетики возвышенного на изображение пейзажа<sup>122</sup>.

---

легитимации и концептуализации власти, с прояснением отношений к предшествующим правителям, осмыслением политического курса, а также с идеологией войны. Проскурина показывает, что при концептуализации имперской власти в России крайне актуальной была античная мифология, например, «амазонский миф», «миф об Астрее», «миф об аргонавтах» (Там же, с. 180).

<sup>121</sup> Фуко М., *Археология знания*, Киев: Ника-центр, 1996, с. 47.

<sup>122</sup> Кан отмечает наличие «риторики возвышенного» (изумление, бессловесность) в некоторых описаниях пейзажа в «Письмах русского путешественника» (см.: Kahn A., “Nikolai Karamzin’s discourses of Enlightenment”, p. 484). Наталья Кочеткова усматривает связь категории возвышенного с возникновением предромантической эстетики в русской литературе, которая выражается в литературных пейзажах в оссиановском или юнговском стиле - «дикие скалы, бурные потоки» (Кочеткова Н.Д., «Герой русского сентиментализма: 2) Портрет и пейзаж в литературе русского сентиментализма», в: *XVIII век. Сб. 15. Русская литература XVIII века в ее связях с искусством и наукой*, под ред. А.М. Панченко, Г.Н. Моисеевой, Ю.В. Стенника, Ленинград: Наука, 1986, с. 89). В качестве примера неидиллического пейзажа у Карамзина она приводит описание гриндельвальдского ледника в «Письмах русского путешественника» (Там же, с. 90).

Однако категория возвышенного у Карамзина играет гораздо более важную роль, существенным образом характеризуя его политическое мышление. На возвышенное не только как на эстетическую категорию обращает внимание Шенле, анализируя «Бедную Лизу». В своем понимании возвышенного он опирается на Жана-Франсуа Лиотара и Томаса Вейскеля, связывая возвышенное с проблематикой просвещения и *modernity*<sup>123</sup>. Возвышенное он понимает как такое «метафорическое отношение между конкретным видимым объектом и абстрактным

---

Вадим Вацуро анализирует описание природы и особенности сюжета в «Острове Борнгольм» и прослеживает их связь с готической литературой или романом «тайн и ужасов», на которые оказали влияние идеи Берка о возвышенном: в них «страдание и предчувствие его – страх, ужас являются стимулом и источником эстетического чувства» (Вацуро В.Э., «Литературно-философская проблематика повести «Остров Борнгольм», в: *XVIII век. Сб. 8, Державин и Карамзин в литературном движении XVIII – начала XIX века*, с. 193).

Возвышенное проблематизирует Владимир Биленкин, который анализирует отношение Карамзина к эстетике возвышенного на примере литературных пейзажей в «Письмах русского путешественника». Он утверждает, что некоторые описания пейзажей Швейцарии (например, горы Венгеналя) свидетельствуют о наличии возвышенного, характерного для эстетики Канта, то есть утверждающего триумф человеческого разума и «трансцендентальной сущности» (см.: Bilenkin V., «The Sublime Moment: Veličestvennoe in N.M. Karamzin's *Letters of a Russian Traveller*», *The Slavic and East European Journal*, vol. 42, № 4, Winter, 1998, p. 613).

Однако Андреас Шенле, не соглашаясь с такой интерпретацией, считает, что в упомянутой сцене путешественник «не достигает автономии», но, наоборот, полностью поддается власти впечатлений. К тому же, с его точки зрения, возвышенное переплетается с религиозными ассоциациями, что как раз ближе не к кантовскому, а к берковскому пониманию возвышенного (см.: Schönle A., *The Ruler in the Garden...*, p. 230). О связи русского сентиментализма с «дискурсом возвышенного» пишет Рольф Фигут, также комментируя проявления возвышенного в «Письмах русского путешественника» (см.: Fieguth R., «Discours du sublime dans le sentimentalisme russe: A. Radišev et N. Karamzin», in: *Russies: mélanges offerts à Georges Nivat pour son soixantième anniversaire*, A. Dykman et J.P. Jaccard (eds.), Geneva: L'Age d'homme, 1995, p. 215-228).

А.Н. Пашкуров в своей фундаментальной работе, посвященной исследованию жанровой специфики сентиментализма и предромантизма в контексте проблематики возвышенного, анализирует и поэзию Карамзина. В частности он рассматривает как проблематика возвышенного в его поэзии (и у других авторов) соотносится с категориями прекрасного или гармонии в общем эстетическом, философском и литературном контексте того времени (см.: Пашкуров А.Н., *Жанрово-тематические модификации поэзии русского сентиментализма и предромантизма в свете категории возвышенного*, диссертация... доктора филологических наук: 10.01.01. Казань: 2005).

<sup>123</sup> В понимании *modernity* Шенле опирается на идеи Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера, суть которых сводится к тому, что просвещение как философская традиция рано или поздно «обращается своей противоположностью», превращаясь в тоталитаризм. Механизм просвещения, по их мнению, работает как «перевод всех явлений на инструментальный язык науки, своего рода отказ от метанарративов, приводя к выстраиванию абстрактной системы отношений, отчуждающей человека от его частной жизни и требующей от него полной отдачи в служении обществу». Таким образом, просвещение становится еще одним способом легитимации власти. Хабермас вместо просвещения предложил использовать понятие “modernity”, имея под ним в виду «такое ощущение времени, при котором настоящее строится на принципиальном разрыве с прошлым и история предстает как ряд изменений, стимулируемых разумом и ведущих к прогрессу, представленному в самых различных формах» (Шенле А., «Между “древней” и “новой” Россией: руины у раннего Карамзина как место *modernity*», с. 126).

познаваемым целым», когда «утверждается банкротство воображения» и оно «заменяется концептуальным мышлением»<sup>124</sup>. Возвышенное актуально для Шенле в контексте амбивалентного отношения повествователя к «древней» и «новой» России, о которой говорилось ранее. Связь возвышенного с просвещением выражается в том, что повествователь не может разрешить противоречие между абстрактным представлением о «просветительской миссии России» и конкретным историческим опытом, наглядно представленным руинами<sup>125</sup>. Просвещение оказывается косвенно связанным с империей, однако Шенле прямым образом не связывает проблематику империи с возвышенным.

Особый интерес для настоящего исследования представляет работа Харши Рама «Имперское возвышенное» (2003). Отправным пунктом в его рассуждении является идея о том, что русская поэзия с новым силлаботоническим типом версификации зарождается почти одновременно с Российской империей. Рам показывает, каким образом имперская тематика в русской поэзии была связана с вопросами «языка, жанра, стиля, лирической субъективности, а также с проблемой отношений между автором и властью в авторитарном государстве»<sup>126</sup>. «Специфически русскую традицию связи между поэтикой, риторикой и политикой»<sup>127</sup> он предлагает называть «имперским возвышенным», которое и становится объектом его исследования на материале русской поэзии, охватывающей период от Ломоносова до Лермонтова. Рам говорит, что, в противоположность западной традиции, в России возвышенное так и не стало самостоятельной теоретически разработанной эстетической категорией, хотя при этом играло «конститутивную роль в русской культуре»<sup>128</sup>.

---

<sup>124</sup> Там же, с. 137.

<sup>125</sup> Там же.

<sup>126</sup> Ram H., *The Imperial Sublime: A Russian Poetics of Empire*, Madison: University of Wisconsin Press: 2003, p. 4.

<sup>127</sup> Ibid., p. 5.

<sup>128</sup> Ibid., p. 17-22.

В работе Рама возвышенное понимается как смешанная эмоция одновременного переживания ужаса и восхищения, представляющая собой реакцию лирического субъекта на «столкновение с империей», которая может манифестироваться как географическое пространство или олицетворяться императором<sup>129</sup>.

Рам показывает, как содержание возвышенного менялось в разных жанрах, и какую связь оно имело с поэтикой произведений. Изменение содержания обуславливалось, прежде всего, изменением реакции лирического субъекта на имперскую власть, то есть тем, в какой степени он способен с нею отождествляться, и тем, как перераспределяются властные отношения между субъектом и властью<sup>130</sup>. Разделяя с Лейтон представление о немиметическом отношении между литературой и историей, Рам, в противоположность ей, не занимается исследованием истории конкретных регионов как «литературных топосов» (например, Кавказа) или как «фактов имперской истории» и связывает имперскую проблематику с «риторической и поэтической традицией»<sup>131</sup>.

Работа Рама важна в контексте настоящей работы, так как позволяет рассматривать оды, малую прозу и политические статьи (в которых присутствуют одические топосы) Карамзина с точки зрения

---

<sup>129</sup> «Источником возвышенности (*sublimity*) российского государства был, скорее, его имперский, нежели национальный характер» (Ibid., p. 22).

<sup>130</sup> Понятие имперского возвышенного также применяет Катерина Кларк в своем исследовании сталинской культуры второй половины 1930-х годов. Исследовательница предлагает рассматривать сталинскую культуру как «вариант эстетики возвышенного» (Кларк К., «Имперское возвышенное в советской культуре второй половины 1930-х годов», *Новое литературное обозрение*, Москва: 2009, № 95, с. 62). Задачей возвышенного в этот период, с ее точки зрения, было служить «источником нарративных стратегий для репрезентации сталинской власти» (Там же, с. 59). Как и Рам, она на материале приключенческих романов, ставшими необыкновенно популярными в этот период, романов о научных открытиях и кинофильмов демонстрирует, каким образом функционирует возвышенное в связи с особой «поэтикой пространства». С возвышенным в данный период связаны, прежде всего, изображения «ледяных пустынь», Сибири, огромных пространств, романтических пейзажей, истории о строительстве грандиозных объектов и преодолении природы на пути ее освоения, о научных открытиях и героических персонажах, которые выполняя задания официальной власти, выступают как метонимические фигуры Сталина, которому принадлежит «властный взгляд». Все это, как говорит, Кларк, символизируется главной ценностью политической культуры 30-х годов – «высотой» (Там же, с. 67).

<sup>131</sup> Ram H., *The Imperial Sublime...*, p. 25.

традиции «имперского возвышенного» и исследовать, каким образом в его текстах происходит «встреча субъекта с империей».

В настоящей работе меня будет интересовать не только категория возвышенного, но и прекрасного, причем в связи с их «политическим аспектом», то есть их связью с воображением нации в текстах писателя. И в этом отношении очень важен трактат Эдмунда Берка «Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» (1756), в котором категории эстетики тесно связаны с вопросами политики, власти и пола. Существует ряд исследований, посвященных анализу возвышенного (не только в берковском варианте) и его отношения к политике, концептуализации власти и истории<sup>132</sup>. Общим в понимании возвышенного в разных подходах является то, что оно является конститутивным элементом для явлений более высокого порядка – например, величине объекта в природе (Э. Берк), высшей способности человека – разума (И. Кант), высшего предназначения судьбы человека (И.Ф. Шиллер), хаоса истории (Х. Уайт), невыразимости познаваемого (Ж.Ф. Лиотар), гениальных предшественников поэта (М. Хайдеггер) – и выражается в серии аффективных реакций субъекта (например, страхе или ужасе, смешанном с изумлением). Возвышенное во всех случаях бросает вызов воспринимающему субъекту, которому приходится либо «подчиниться» ему, либо ответить каким-нибудь другим действием: например, политической покорностью (Берк); утверждением силы автономного рационального субъекта (Кант); приведением в систему хаоса исторических данных (Уайт); созданием гениального

---

<sup>132</sup> Обзор подходов к изучению возвышенного см.: Shapiro G., “From the Sublime to the Political: Some Historical Notes”, *New Literary History*, Vol. 16, № 2, (Winter 1985), p. 213-135. О проблеме возвышенного в исторических дисциплинах см.: White H., “Politics of Historical Interpretation: Discipline and De-Sublimation”, *Critical Inquiry*, vol. 9, № 1, (September, 1982), p. 113-137. Об отличии между возвышенным и прекрасным и конструировании культурной дистанции между полами в XVIII веке см.: Lokke K., “Schiller’s Maria Stuart: The Historical Sublime and the Aesthetics of Gender”, *Monatshefte*, Vol. 82, № 2 (Summer, 1990), p. 123-141. О проблематизации самого понятия «политического возвышенного» см.: O’Gorman N., “The Political Sublime: An Ouhomoron”, *Millenium: Journal of International Studies*, 2006, Vol. 34, № 3, p. 889-915. О роли возвышенного в революционной мысли во Франции времен французской революции (идеология Робеспьера) см.: Huet M.-H., “The Revolutionary Sublime”, *Eighteenth-Century Studies*, Vol. 28, № 1, (Autumn, 1994), p. 51-64.

произведения (Хайдеггер). Оно, таким образом, наделяется своего рода властью по отношению к воспринимаемому субъекту. Для раскрытия эмоциональной составляющей воображения нации у Карамзина (возвышенное и прекрасное тесно связаны с эмоциональными реакциями) наиболее важной представляется эстетика Берка.

Выбор берковской эстетики мотивирован тем, что, во-первых, Берк и Карамзин оказываются в одной парадигме консервативного мышления. Юлия Филатова в своей диссертации исследовала особенности их консервативного мышления в сравнительной перспективе и показала, что «основные идеи консервативной концепции Карамзина» были во многом схожи со взглядами Берка и что Карамзин вписывается в общеевропейский контекст развития консервативной мысли<sup>133</sup>. Она исследовала не только идеи, но и способы представления консервативного дискурса в языке Карамзина, показав сходство между ним и Берком в этом аспекте. Однако отметив важность эмотивной лексики у обоих мыслителей, она, тем не менее, не связывала ее с категориями возвышенного и прекрасного. Во-вторых, хотя Карамзин и не концептуализирует возвышенное и прекрасное, однако на основе анализа его текстов можно сделать вывод об их наличии в его политическом воображении как более глубинных эстетических принципов.

Следует кратко представить, как в эстетике Берка понимается возвышенное и прекрасное. Характерная черта переживания возвышенного, по Берку, заключается в испытываемых эмоциях *страха* или *ужаса* при встрече человека с возвышенным объектом, который связан с идеей огромности, бесконечности, опасности, силы, или «собственной конечности при столкновении с бесконечным»<sup>134</sup>, а также ассоциируются с идеей *боли* и *самосохранения*. Помимо страха и ужаса,

---

<sup>133</sup> Филатова Ю.А., *Формирование консервативного стиля мышления: Эдмунд Берк и Николай Карамзин*, диссертация... кандидата исторических наук: 24.00.01. Москва: 2005, с. 41.

<sup>134</sup> White S.K., *Edmund Burke: Modernity, Politics, and Aesthetics*, California: Sage publications, 1994, p. 31.

реакцией на возвышенные объекты могут быть удивление, трепет, уважение или почитание. В противоположность возвышенным объектам, прекрасные объекты связаны с идеей *удовольствия* и вызывают симпатию или любовь, которые *социальны* по своей природе, поскольку направлены на общение и установление контакта. Источником прекрасного могут быть предметы небольших размеров, плавные линии, светлые цвета и т. д.<sup>135</sup>.

В статье, посвященной вопросу о связи эстетики Берка с его политическим мышлением, Нил Вуд пишет, что одной из точек пересечения между его политическими и эстетическими воззрениями является то, каким образом он воспринимает моральные качества индивидуума или исторического деятеля. Добродетели, по мнению Берка, также могут быть возвышенными или прекрасными. К возвышенным или величественным – относятся добродетели, связанные с политикой, управлением государством, военным делом, а это – справедливость, мудрость, мужество<sup>136</sup>. Они принадлежат к «мужской» сфере деятельности<sup>137</sup>. Прекрасные добродетели – доброту, нежность, снисходительность, сострадательность – Берк определяет как «мягкие», или присущие женщинам<sup>138</sup>. Различие между возвышенными и прекрасными добродетелями также выражается в образах отца и матери: «авторитет отца /.../ мешает нам испытывать к нему ту любовь во всей ее полноте, которую мы питаем к своим матерям, у которых родительская власть почти полностью растворяется в материнской любви»<sup>139</sup>.

Вуд пишет, что политические размышления об устройстве общества у Берка также связаны с эстетическими принципами. Так, в

---

<sup>135</sup> В противоположность эстетике классицизма, Берк считал, что не пропорциональность, правильность и совершенство формы являются критериями «прекрасности» объектов, а, наоборот, их мягкость, гладкость, слабость, хрупкость и подчиненность (см.: Берк Э., *Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного*, перевод с англ. Е.С. Лагутина, Москва: «Искусство», 1979, с. 117-143).

<sup>136</sup> Wood N., “The Aesthetic Dimension of Burke’s Political Thought”, in: *Edmund Burke*, Hampshire-Monk (ed.), University of Exeter, UK: ASHGATE, 2009, p. 173.

<sup>137</sup> White S.K., *Edmund Burke ...*, p. 32.

<sup>138</sup> Ibid.

<sup>139</sup> Берк Э., *Философское исследование...*, с. 137.

основе любого сообщества (например, семьи или нации) лежат два принципа: принцип социальный (дружба, сострадание – «мягкие» добродетели) и принцип политический (власть, справедливость, мудрость – «великие» добродетели). Таким образом, в устройстве любого общества в различных пропорциях проявляются эстетические принципы прекрасного и возвышенного<sup>140</sup>. Одна из целей настоящей работы – показать, что поэтика нации у Карамзина во многом объясняется проявлением этих двух эстетических категорий в его текстах.

### **Принципы цитирования текстов Карамзина**

Политические статьи цитируются по оригинальному изданию «Вестника Европы». Художественные произведения – по двухтомному собранию сочинений 1964 г. под редакцией П. Беркова и Г. Макогоненко. Художественные произведения, не вошедшие в это собрание, цитируются по изданию А. Смирдина, трехтомному собранию сочинений 1848 года. Все слова в цитатах, выделенные курсивом, если не указано иначе, – мои. Цитаты оформлены в соответствии с нормами современной орфографии, за исключением авторских заглавных букв.

### **По теме диссертации опубликованы следующие работы:**

Snežko J., Semiotinė Nikolajaus Karamzino “Laiško leidėjui” analizė, *Literatūra, Mokslo darbai, Rusistica Vilnensis*, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, 50 (2), p. 42-53.

Snežko J., Imperinio diskurso problematika šiuolaikiniuose rusų kultūros tyrinėjimuose, *Politologija, Mokslo darbai*, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011, 1 (61), p. 3-28.

Снежко Ю., Поэтика *нации* и *империи* в произведениях Николая Карамзина малых жанров, *Literatūra, Mokslo darbai, Rusistica Vilnensis*, 2012, 54 (2), в печати.

---

<sup>140</sup> Wood N., “The Aesthetic Dimension of Burke’s Political Thought”, p. 175.

Snežko J., Political Aspects of the Sublime in Nikolaj Karamzin texts,  
*Cahiers de l'ILSL*: Université de Lausanne, 2012, в печати.

## I. ПОЭТИКА НАЦИИ В ПАНЕГИРИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

В этой части работы будут исследоваться особенности конструирования нации как воображаемого сообщества в одах Карамзина и в его «Историческом похвальном слове Екатерине II» (1801)<sup>1</sup>, которому будет уделено особое внимание. Как уже отмечалось, между жанром похвального слова и жанром торжественной оды существует генетическая связь, но главное, что их объединяет – это общая тематика – восхваление монарха. Хотя в поэзии Карамзина оды не имеют первостепенного значения, в настоящей работе они представляют интерес в контексте традиции имперского возвышенного. Сначала будет рассмотрена роль *эмоций* в конструировании нации как эмоционального сообщества в одах, а затем – проанализированы значения *времени* и *пространства*, релевантные для ее воображения. Далее те же конститутивные элементы будут анализироваться в «Похвальном слове». В завершение будет показана общность и различие значений указанных элементов в панегирических жанрах.

Наряду с небольшим количеством лирико-гражданских стихотворений оду в поэтическом наследии Карамзина можно считать маргинальным жанром. Он написал всего несколько од: «Ода на случай присяги московских жителей его императорскому величеству Павлу Первому» (ноябрь, 1796), «Его императорскому величеству Александру I, самодержцу всероссийскому, на восшествие на престол» (<март>, 1801), «На торжественное коронование его императорского величества Александра I, самодержца всероссийского» (1801), «Песнь воинов» (1806), «Освобождение Европы и слава Александра I» (1814). Лотман объяснял причину появления жанра оды в поэтическом творчестве

---

<sup>1</sup> Далее – «Похвальное слово». Страницы будут указываться в самом тексте по изданию: Карамзин Н., *Сочинения Карамзина в 9 т.*, том 8, Москва: Типография С. Селивановского, 1820.

писателя изменением его общественно-политических взглядов: Карамзин, разочаровавшись в доброй природе человека, философских системах и утопических учениях, обращается к идее сильной власти или политики, основанной не на морали, а на интересах, учитывающей эгоистическую природу людей, но при этом не становится «восторженным одописцем» ломоносовского типа<sup>2</sup>.

Однако идея о «необходимости политики – внешнего, насильственного управления людьми ради их же собственного блага»<sup>3</sup> никак не отражается в его одах и не выводится из них. Карамзин, как будет показано далее, выражает ее в других произведениях. Хотя в некоторых случаях связь его между общественными взглядами и его поэтическими текстами проблематична<sup>4</sup>, его оды (жанр, который изначально был связан с поэтическим осмыслением власти) демонстрируют, каким образом *эстетически* концептуализируются отношения между монархом, подданными и лирическим субъектом. При этом особое значение в них имеют *эмоции*, которые, во-первых, играют существенную роль в конструировании эмоционального сообщества; во-вторых, позволяют говорить о специфике изменения аффективных реакций лирического субъекта в контексте традиции имперского возвышенного; и, в-третьих, являются традиционным «атрибутом» од. Поэтому представляется уместным начать анализ именно с эмоций.

---

<sup>2</sup> Лотман Ю.М., «Поэзия Карамзина. Вступительная статья», в: Карамзин Н., *Полное собрание стихотворений*, Ленинград: «Советский писатель», 1966, с. 47.

<sup>3</sup> Там же, с. 46.

<sup>4</sup> Например, Лотман пишет, что стихотворение «Гимн глупцам» «очень характерно для политических настроений Карамзина 1802 г., когда надежды на Александра I сменились «резко критической оценкой» его либеральных устремлений (Лотман Ю.М., «Поэзия Карамзина», с. 400). Лотман в подтверждение своего мнения, что в этом стихотворении выражается мысль о том, что «государство может лишиться счастья человека с умом и сердцем, осчастливить же оно может только дурака», цитирует из него следующие строки: «Глупцы Нерону не опасны: Нерон не страшен и для них...» (Там же, с. 48). Представляется, однако, что данное место не следует интерпретировать как критику «либеральных проектов» Александра. Это, скорее, желчная автоирония, горечь просвещенного и чувствительного лирического героя, против которого оборачиваются им же лелеемые ценности «просвещения» и «чувствительности», так и не принешие ему «счастья». Его личная неспособность обрести «Астрею»/ счастье противопоставляется счастью глупцов, которые вовсе не озабочены проблемами просвещения и чувствительности: «для глупых здесь всегда Астрея», а в истории человек был «блажен», когда «думать не умея, без смысла и желудком жил» (Там же, с. 289).

Рассмотрим более подробно, как Рам определяет имперское возвышенное. По его мнению, возвышенное всегда так или иначе связано с циркуляцией власти: лирический субъект вступает в цепочку сложных отношений с источником возвышенного, которым может быть как поэтическое вдохновение, так и имперская власть. Наиболее ярким примером выражения имперского возвышенного являются оды Ломоносова. Анализируя оды, Рам говорит о специфическом пространстве, поэтика которого позволяет артикулировать возвышенное и определяется пересечением вертикальной и горизонтальной осей. Вертикальная ось символизирует лирический восторг («Восторг внезапный ум пленил,/ Ведет на верьх горы высокой», «Ода блаженныя памяти государыне императрицы Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года»), с которым поэт не в состоянии справиться и который приравнивается силе имперской власти, подчиняющей себе субъекта. Чувство «головокружения» или страха, охватывающее поэта, компенсируется горизонтальной осью – изображением военных побед или важных исторических событий – представляющей собой «мощь империи»<sup>5</sup>. Рам подчеркивает, что подчинение поэта поэтическому «восторгу» является аналогичным подчинению поэта имперской власти, поскольку в обоих случаях он подчиняется внешней по отношению к нему силе<sup>6</sup>.

Согласно Раму, характерной аффективной реакцией лирического героя на возвышенное в одах Ломоносова является смесь восторга, ужаса и блаженства, которая указывает на характер его отношения к власти или ее переживания. Например:

Какая бодря дремота  
Открыла мысли явный сон?  
Еще горит во мне охота  
Торжественный возвысить тон.  
Мне вдруг ужасный гром блистает

---

<sup>5</sup> Ram H., *The Imperial Sublime ...*, p. 65.

<sup>6</sup> *Ibid.*, p. 5, 68.

И купно ясный день сияет!  
То сердце сильна власть страшит,  
То кротость оное живит;  
То бодрость страх, то страх ту клонит,  
Противна страсть противну гонит!<sup>7</sup>

Здесь поэт предвосхищает появление Петра I и Елизаветы. «Сильна власть» является атрибутом Петра I, которому невольно подчиняется поэт, а «смягчающая» власть «кротость» характеризует Елизавету. «Кротость» монархини предоставляет лирическому герою большую власть над собой и свободу<sup>8</sup>.

Рассмотрим, как трансформируется традиция имперского возвышенного в одах Карамзина. В оде, посвященной Павлу I, мы читаем: «Что слышу? Громы восклицаний,/ Сердечных, радостных взываний!../ Что вижу? Весь народ спешит/ Во храм, украшенный цветами; /.../ И слезы счастья лиются!../.../ Итак, на троне Павел Первый?/ Венец российския Минервы/ Давно назначен был ему...»<sup>9</sup>. Ода, посвященная Александру I, начинается стихами: «России император новый!/ На троне будь благословен»<sup>10</sup>. Еще одна посвященная ему ода начинается с обращения к России: «Россия! торжествуй со славой!/ Се юный царь, краса людей!/ Приял венец и скиптр с державой /.../»<sup>11</sup>. Лирический герой Карамзина не переживает тот смешанный с *ужасом восторг*, который «подчинял» себе ломоносовского героя. Вместо традиционного переживания «страха и трепета», он просто констатирует то, что видит и слышит, и вполне контролирует свой восторг, присоединяясь к остальному народу: «Я в храм со всеми поспеваю/

---

<sup>7</sup> Ломоносов М.В., «Ода на прибытие императрицы Елисаветы Петровны из Москвы в Санктпетербург 1742 года по коронации», в: Ломоносов М.В., *Избранные произведения*, Ленинград: «Советский писатель», 1986, с. 93.

<sup>8</sup> Ram H., *The Imperial Sublime...*, p. 79.

<sup>9</sup> Карамзин Н., «Ода на случай присяги Павлу I», с. 185.

<sup>10</sup> Карамзин Н., «Его императорскому величеству Александру I», с. 261.

<sup>11</sup> Карамзин Н., «На торжественное коронование Александра I», с. 265.

Подъемлю руку, восклицаю»<sup>12</sup>. Таким образом, в рассматриваемых одах происходит своего рода прозаизация возвышенного.

Стоит также отметить, что в этих одах отсутствуют традиционные формулы самоумаления или самоуничижения поэта перед монархом и только один раз встречается распространенное в одах «дерзаю»: «Монарх! В последний раз пред тронем/ Дерзнул я с лирою предстать;/ Мне сердце было Аполлоном:/ Люблю хвалить, но не ласкать /.../»<sup>13</sup>. В одах Карамзина источник вдохновения, в отличие от од Ломоносова (в которых поэт подчиняется музе), находится в самом лирическом герое, а выбор «хвалить или не хвалить» остается за ним, становясь его «личным предприятием». Тем самым он конституируется как относительно независимый от возвышенной власти субъект.

Исследуя особенности нации как эмоционального сообщества в одах, важно определить, какими качествами наделяются монархи и как эти качества связаны с категориями возвышенного и прекрасного. С одной стороны, в изображении монархов используется «традиционная» метафорика возвышенного – «герои»<sup>14</sup>, «земной бог»<sup>15</sup>, «монарх России, полусвета»<sup>16</sup>, «сильнейший из владык земных»<sup>17</sup>. Они наделяются «великими» добродетелями<sup>18</sup>: подчеркивается их мудрость (Александр I «удивляет зрелой мудрости плодами»)<sup>19</sup> и справедливость (в руках у Александра I и Павла I «весы Фемиды»<sup>20</sup>), а также сила («Но если злобный враг явится,/ Росс с Павлом, с богом ополчится,/ И враг к ногам твоим падет!»<sup>21</sup>). Эти возвышенные добродетели, наряду с величием

---

<sup>12</sup> Карамзин Н., «Ода на случай присяги Павлу I», с. 185.

<sup>13</sup> Карамзин Н., «На торжественное коронавание Александра I», с. 269.

<sup>14</sup> Карамзин Н., «Его императорскому величеству, Александру I», с. 263.

<sup>15</sup> Карамзин Н., «Ода на случай присяги московских жителей Павлу I», с. 185.

<sup>16</sup> Карамзин Н., «На торжественное коронавание его императорского величества Александра I...», с. 265.

<sup>17</sup> Карамзин Н., «Его императорскому величеству, Александру I», с. 262.

<sup>18</sup> Берк их определяет как те добродетели, которые «относятся к более возвышенному ряду, такие, как крепость духа, справедливость, мудрость» (Берк Э., *Философское исследование...*, с. 136). Они вызывают не любовь, но страх.

<sup>19</sup> Карамзин Н., «На торжественное коронавание Александра I», с. 266.

<sup>20</sup> Карамзин Н., «Его императорскому величеству, Александру I», с. 263; «Ода на случай присяги московских жителей Павлу I», с. 186.

<sup>21</sup> Карамзин Н., «Ода на случай присяги московских жителей Павлу I», с. 187.

предстоящих трудов, которые должны совершить монархи, вызывают восторг, являющийся одной из возможных реакций на возвышенное, вместе со страхом, почтением, изумлением<sup>22</sup>.

Карамзин, однако, отдает явное предпочтение мягким или прекрасным (в терминологии Берка) добродетелям – состраданию, доброте, терпимости и т.п. Они, как пишет Берк, вызывают «меньше почтительности, но именно по этой причине они так приятны»<sup>23</sup>. Так, Павел I характеризуется следующим образом: «отец», «любит россов нежно», «любит подданных своих», «ему все дети», «царь сердец». И только по отношению к «злым» внутри России или к внешним «злым врагам» Павел I предстает как «страшный», являя собой в этом случае фигуру возвышенного. Александр I в одах «На торжественное коронование Александра I» и «Его императорскому величеству Александру I» наделяется следующими характеристиками: «добрый царь», «ангел божий», «краса людей», «[ему] одна любовь прелестна», «герой в душе миролюбивой», «отечества отец», «монарх сердец», «любимый и любви достойный». Как и Павла I, лирический герой призывает Александра I «беречь грома для врагов», чтобы он «разил единое злодейство». В свою очередь, оба монарха по своей «человечности» и мягким добродетелям противопоставляются Петру I. Карамзин в «Оде на случай присяги московских жителей Павлу I» пишет: «Петр Первый был всему начало;/ Но с Павлом Первым воссияло/ В России счастье людей», «Но ты еще дороже нам:/ Петр был велик, ты мил сердцам»<sup>24</sup>. «Жесткость» и прямолинейность петровской власти противопоставляется «мягкости» власти Александра I и Павла I. Мягкость монархов дает большую свободу лирическому субъекту, который освобождается от эмоций страха. Карамзин подчеркивает любовь обоих монархов к музам, к просвещению и их «милость»,

---

<sup>22</sup> Берк Э., *Философское исследование...*, с. 69, 88.

<sup>23</sup> Там же, с. 136.

<sup>24</sup> Карамзин Н., «Ода на случай присяги московских жителей Павлу I», с. 189.

относящуюся также к мягким или прекрасным добродетелям<sup>25</sup>. Кроме того, мягкость способствует сокращению дистанции между подданными и имперской властью, благодаря тому, что монарх представляется таким же человеком, как и его подданные: «У вас на троне человек», говорит Клио об Александре I<sup>26</sup>. Таким образом, снижается его «божественная» или «героическая» возвышенность. Наделение монарха «домашними» добродетелями (милость) делает его более «доступным» для подданных (вызывает не восторженный страх, а любовь) и способствует проявлению в обществе социальных аффектов, направленных на общение, – удовольствия, симпатии, любви, являющихся выражением прекрасного<sup>27</sup>.

В этом контексте уподобление России «[его] семейству» является важной метафорой, так как «семейство» подразумевает наличие тесных аффективных связей между его членами. Нил Вуд пишет, что «принцип дружбы», ассоциирующийся с удовольствием и привязанностью, в берковской эстетике относится к приватной сфере или семье. Для того чтобы общество могло нормально функционировать, необходим и «политический принцип» – принцип «отцовской» власти (справедливости или правосудия), который должен постоянно действовать в государстве<sup>28</sup>.

Для пояснения различия между разными типами добродетелей Берк приводит пример, с одной стороны, Ахилла и Агамемнона, а с другой – Гектора и Приама. Если сила и военная доблесть ахеев вызывают восхищение, то, с точки зрения Берка, троянцы, обладающие «приятными социальными добродетелями», должны

---

<sup>25</sup> Берк Э., *Философское исследование...*, с. 137.

<sup>26</sup> Карамзин Н., «На торжественное коронавание Александра I», с. 268.

<sup>27</sup> Как пишет Берк, идея прекрасного основывается на «аффекте общения» (см.: Берк Э., *Указ. соч.*, с. 71-73).

Уортман писал, что Александр I во время разных празднеств «был доступен и скромен», но при этом его скромность не сокращала дистанцию между ним и народом, наоборот, «это была особая милостивая скромность и человечность государя, который являлся как высшее исключительное существо. Действуя как обычный человек, он именно этим возвышал себя над людьми как государь» (Уортман Р., *Сценарии власти...*, том 1, с. 264). Представляется, однако, что в одах Карамзина акцентируется именно сокращение дистанции и эмоциональное объединение между подданными и монархом.

<sup>28</sup> Wood N., «The Aesthetic Dimension of Burke's Political Thought», p. 175.

вызывать у читателя сострадание. Поэтому читатель должен гораздо более симпатизировать Гектору и Приаму, нежели Ахиллу и Агамемнону<sup>29</sup>. У Карамзина Павел I, Александр I и Екатерина II своими мягкими добродетелям противопоставляются Петру I, который в более ранней одической традиции обычно изображается как колоссальная по своим способностям фигура, вызывающая страх или ужас. Например, Ломоносов в «Оде на день тезоименитства /.../ великого князя Петра Феодоровича 1743 года» сравнивает Петра I с богом, который находится «среди героев, выше звезд»<sup>30</sup>. А в «Оде на взятие Хотина» (1739), предвосхищая появление Петра I в облаке, лирический герой восклицает: «Что так теснит боязнь мой дух?/ Хладнеют жилы, сердце ноет! /.../ Пустыня, лес и воздух воет!»<sup>31</sup>. Или, например, у Сумарокова читаем: под Петром I «дрожит земля», «пучина познает его власть», он «подвигнул страхом глубину», Нептун «в страхе встречает Невский флот»<sup>32</sup>. Таким образом, страх и ужас являются обычными реакциями на появление Петра I, которые испытывают и люди, и природа<sup>33</sup>. Они совершенно противоположны эмоциям, вызываемым Павлом I и Александром I.

В оде, посвященной Павлу I, лирический герой «горит пламенным усердьем» по отношению к монарху<sup>34</sup> и, «чувством сердца вдохновенный», «гремит народу: «Царь отец!», «проницая сердца» и «извлекая слезы»<sup>35</sup>. Восторг и слезы объединяют монарха и подданных: люди, воздавая хвалу Павлу I, «в восторге онемеют;/ Слезами речь запечатлеют;/ Ты с ними прослезись сам,/ Восторгом россов

---

<sup>29</sup> Ibid., p. 174.

<sup>30</sup> Ломоносов М. В., *Избранные произведения*, с. 99.

<sup>31</sup> Там же, с. 64.

<sup>32</sup> Сумароков А.П., «Ода Е.И.В. Всемилостивейшей государыне императрице Елисавете Петровне, самодержице всероссийской, в 25 день ноября 1743», в: Сумароков А.П., *Избранные произведения*, Ленинград: «Советский писатель», 1957, с. 62.

<sup>33</sup> Уортман пишет, что Петр I создал «образ завоевателя, отвергающего все предшествующее», а также образ «разгневанного бога, чья цель – разрушение и созидание нового» (см.: Уортман Р., *Сценарии власти...*, том 1, с. 98). Демиургичность и величественность его образа находила выражение в одической поэзии.

<sup>34</sup> Карамзин Н., «Ода на случай присяги московских жителей Павлу I», с. 185.

<sup>35</sup> Там же, с. 187.

восхищенный»<sup>36</sup>. В одах, посвященных Александру I, по отношению к монарху «сердца пылать готовы», его власть кажется «властию любви одной»<sup>37</sup>, он «умел сердца навек пленить»<sup>38</sup> и «узреет один восторг любви», если будет жить для «счастья» подданных<sup>39</sup>. Таким образом, любовь становится главной эмоцией, объединяющей субъектов в одно эмоциональное сообщество.

Эмоциональное сообщество, основанное на любви, противопоставляется сообществу, основанному на страхе: «любовь со страхом не совместна»<sup>40</sup>. В стихе выражается намек на деспотическое царствование Павла I и Французскую революцию: «Можно ли рабу любить? /.../ Душа свободная одна/ Для чувств ее сотворена», – далее звучит мысль о том, что свобода состоит в подчинении законам («Свобода там, где есть уставы /.../ Там рабство, где законов нет»), но равенство является «одной мечтой»<sup>41</sup>. И хотя законы важны, но в «идеальном» сообществе, когда монарх и подданные «в душе желают одного»<sup>42</sup>, приоритет отдается чувствам: власть воспринимается как власть любви, а покорность концептуализируется как «святая благодарность», «сердцу услажденье»<sup>43</sup>.

Как монарх имеет власть над подданными, так и поэт обладает поэтической властью над ними – он «*проницает* восторгом сердца» людей. В одах обнаруживается параллель между «проницанием» поэта и «проницанием» Павла I в сердца его подданных: «На лица Павел не взирает/ И в сердце оком *проницает*»<sup>44</sup>. Если поэт в данном случае актуализирует принцип социальности, то есть устанавливает эмоциональную связь между подданными и монархом, то Павел I

---

<sup>36</sup> Там же, с. 189.

<sup>37</sup> Карамзин Н., «Его императорскому величеству Александру I», с. 261.

<sup>38</sup> Карамзин Н., «Ода на торжественное коронование его императорского величества Александра I», с. 267.

<sup>39</sup> Карамзин Н., «Освобождение Европы и слава Александра I» (1814), с. 311.

<sup>40</sup> Карамзин Н., «Ода на торжественное коронование его императорского величества Александра I», с. 266.

<sup>41</sup> Там же, с. 266.

<sup>42</sup> Там же, с. 265.

<sup>43</sup> Карамзин Н., «Его императорскому величеству Александру I», с. 262.

<sup>44</sup> Карамзин Н., «Ода на случай присяги московских жителей Павлу I», с. 186.

реализует политический принцип власти, выражающийся в установлении справедливости – он «не взирает на лица»<sup>45</sup>. Помимо принципа власти в одах постоянно акцентируется принцип социальности и важность чувства, а изображаемое сообщество регулируется не столько имперсональными законами, сколько «союзом сердец».

Несмотря на то, что, как было отмечено выше, в одах происходит прозаизация ломоносовского восторга, тем не менее восторг (без примеси ужаса) остается важным компонентом в «союзе сердец» монарха и подданных. С точки зрения Константина Богданова, восторг – «чувство, выражающее /.../ торжество корпоративного, а шире – общественного согласия. В одах, адресуемых к императорам и императрицам, восторг указывает на полноту эмоционального единства, связующего подданных в границах империи»<sup>46</sup>. Хотя, как пишет Богданов, «восторг» в публицистическом дискурсе после 1812 года «сопутствует волне патриотического подъема и дискуссиям о национальном самосознании» и часто совмещается с эксклюзивистскими конструкциями (например, переделанное высказывание Суворова «Мы русские! Какой восторг!»)<sup>47</sup>, представляется, что в одах Карамзина (1796-1801 г.) восторг любви как раз выполняет объединяющую функцию в эмоциональном сообществе, в которое риторически могут включаться и иностранцы.

Особое значение любви в эмоциональном сообществе характерно именно для од Карамзина. Например, в оде И.И. Дмитриева «Песнь на день коронавания его императорского величества государя императора Александра Первого» (1801) отсутствует эмотивная лексика, указывающая на «взаимную» любовь между подданными и монархом, и просто говорится, что монарх является «утешением сердец», «счастья

---

<sup>45</sup> Там же.

<sup>46</sup> Богданов К.А., «Открытые сердца, закрытые границы (о риторике восторга и беспредельности взаимопонимания)», *Новое литературное обозрение*, 2009, № 100, с. 140.

<sup>47</sup> Там же.

нашего залогом», а его правление характеризуется как «дни златые»<sup>48</sup>. Можно заключить, что в конструировании эмоционального сообщества в карамзинских одах преобладает категория прекрасного. Это преобладание выражается в акцентировании мягких добродетелей монархов, дружбы и любви. Поэтому мнение Лотмана о том, что появление оды в творчестве писателя было связано с «проповедью сильной власти», представляется несколько односторонним<sup>49</sup>. В одах Карамзина, напротив, акцентируется дискурс любви и изображается сообщество, в котором доминирует прекрасное, а возвышенное, основывающееся на страхе, явно отходит на задний план («любовь со страхом не совместна»). В конструировании такого сообщества важную роль играют **время и пространство**.

*Время* в одах определенным образом характеризует нацию как эмоциональное сообщество. Приход «новых» монархов и надежды подданных на счастье актуализируют время начала. В оде «На случай присяги московских жителей Павлу I» читаем – «кто столь премудро *начинает*,/ Достигнет мудрого конца – / *Началом* ты пленил сердца»<sup>50</sup>; в оде «Его императорскому величеству Александру I» – «России император новый», «Надеждой дух наш оживлен./ Так милая весны явление/ С собой приносит нам забвенья/ Всех мрачных ужасов зимы;», «*Весна* у нас, с тобою мы»<sup>51</sup>, «ты можешь все – еще ты *млад*»<sup>52</sup>. Монархи как бы продолжают направленный на «устройство» счастья в обществе вектор, заданный Петром I, который был «всему начало»<sup>53</sup>. Здесь главной характеристикой времени является настоящее, устремленное в будущее, а «содержание» временного вектора раскрывается, прежде всего, через топос «покоя».

---

<sup>48</sup> Дмитриев И.И., *Полное собрание стихотворений*, Ленинград: «Советский писатель», 1967, с. 77.

<sup>49</sup> Лотман Ю.М., «Поэзия Карамзина», с. 48.

<sup>50</sup> Карамзин Н., «Ода на случай присяги московских жителей Павлу I», с. 190.

<sup>51</sup> Карамзин Н., «Его императорскому величеству Александру I», с. 261.

<sup>52</sup> Там же, с. 262.

<sup>53</sup> Карамзин Н., «Ода на случай присяги московских жителей Павлу I», с. 189.

Топос «покоя» в одах раскрывается через следующее семантическое поле: мирное время, законы и счастье людей. В оде Павлу I говорится, что люди будут счастливы «под сенью *мирных* оливы»<sup>54</sup>; Павел I – «творец *мирных* райских дней»<sup>55</sup>; «в прозрачном *тихих* вод кристалле,/ Как в *чистом*, явственном зеркале,/ Увидит счастье людей»<sup>56</sup>. В одах, посвященных Александру, покой связан с миром и наличием законов: «премудрые уставы хранили покой»<sup>57</sup>; он сам назван «гением *покоя*», «правоты святой» и противопоставляется Марсу, «богу ужаса» войны<sup>58</sup>; искусство цветет «под кровом *мирной тишины*»; «в судах глубокое *молчанье*»; «воин *покойно спит*»<sup>59</sup>. П.Е. Бухаркин, анализируя важность и специфику топоса «тишины» в одах Ломоносова, отмечает ее «странное соседство с /.../ динамикой разного рода» и приходит к выводу, что она по смыслу вовсе не «противоположна внешней активности»<sup>60</sup>. Бухаркин пишет, что у Ломоносова «мир, где властвует “тишина”, состоит из элементов, открытых друг другу, понятных друг для друга»<sup>61</sup>. Он подчеркивает, что в таком мире отсутствует «принуждение». В одах Карамзина покой также не противоречит «движению», выражающемуся в развитии торговли («сын Майн нашими руками/ Сбирает дань во всех странах»<sup>62</sup>), просвещения (Александр I «радел о благе воспитанья», способствуя его распространению) и искусства («искусство украшает грады»)<sup>63</sup>. В топосе покоя также ярко присутствуют значения открытости и ясности: закон должен быть как «зерцало, «где б солнце истины сияло»<sup>64</sup>; в «тишине» «врата темниц отворены»<sup>65</sup>. Покой, возможный только в обществе, в котором есть порядок/ законы, становится гарантом

<sup>54</sup> Там же, с. 187.

<sup>55</sup> Там же, с. 189.

<sup>56</sup> Там же.

<sup>57</sup> Карамзин Н., «Его императорскому величеству Александру I», с. 261.

<sup>58</sup> Там же, с. 263.

<sup>59</sup> Карамзин Н., «На торжественное коронование Александра I», с. 268.

<sup>60</sup> Бухаркин П.Е., «Топос “тишины” в одической поэзии М.В. Ломоносова», *XVIII век. Сб. 20*, отв. ред. Кочеткова Н.Д., СПб: «Наука», 1996, с. 6.

<sup>61</sup> Там же, с. 8.

<sup>62</sup> Карамзин Н., «На торжественное коронование Александра I», с. 268.

<sup>63</sup> Там же, с. 269.

<sup>64</sup> Карамзин Н., «Его императорскому величеству Александру I», с. 263.

<sup>65</sup> Карамзин Н., «На торжественное коронование Александра I», с. 268.

его стабильности, способствуя актуализации социальных эмоций (радость, удовольствие) и эмоциональной связи между монархом и подданными.

Топос покоя, указывающий на возможность счастливых времен, семантически перекликается с мифом об Астреи. Следует отметить, что в русской одической поэзии XVIII века Карамзин был одним из последних, кто использовал этот традиционный имперский миф, в котором приход очередного императора к власти поэтически сравнивается с возвращением Астреи, золотого века и с наступлением мая. На это указала Вера Проскурина, отметив «сколь сильна была одическая память жанра»<sup>66</sup>. Она пишет, что у Карамзина в оде «На торжественное коронавание Александра I» впервые был изображен не абстрактный рай, но рай, окрашенный в сентиментально-меланхолические тона: «Везде прелестные картины/ Избытка, сельской красоты,/ Невинной, милой простоты:/ Цветут с улыбкою долины,/ Блещут класами поля – / Эдемом кажется земля!»<sup>67</sup>. На образы монархов переносятся «программные атрибуты Астреи»: справедливость, миролюбие, покровительство искусствам<sup>68</sup>. Приход Астреи связывается с благоденствием, счастьем, исчезновением бедности, милостью, законами и покоем. Наталья Кочеткова отмечает, что в традиционных похвальных одах «золотой век» присутствует «здесь и сейчас»<sup>69</sup>. Однако в одах Карамзина миф о золотом веке ориентирован на будущее время, так как писатель, с ее точки зрения, «отвергает» возможность существования золотого века в настоящем<sup>70</sup>.

Золотой век выражается и в образе Российской империи как прекрасного сада, что соответствует распространенному в русской литературе XVIII в. утопическому мотиву: Россия – сад, насаждаемый

---

<sup>66</sup> Проскурина В., *Мифы империи: литература и власть в эпоху Екатерины II*, с. 98.

<sup>67</sup> Там же, с. 102.

<sup>68</sup> Там же, с. 99.

<sup>69</sup> Кочеткова Н.Д., «Тема «золотого века» в литературе русского сентиментализма», *XVIII век. Сб. 18*, отв. ред. Н.Д. Кочеткова, СПб: Наука, 1993, с. 172.

<sup>70</sup> Там же, с. 185-186.

монархом<sup>71</sup>. В данном случае сад, в котором все живут в счастье, насаждает Александр I: «Россия – мира половина,/ От врат зимы, Камчатских льдов,/ До красных Невских берегов,/ До стран Колхиды и Эвксина,/ Во всей обширности своей/ Сияет... счастьем людей»<sup>72</sup>; «Страна, окованная хладом,/ Где чувство, жизнь усыплены,/ Является прекрасным садом/ От взора теплыя весны»<sup>73</sup>. В тексте весна является метафорой прихода Александра I, как бы насаждающего «прекрасное» сообщество, в котором принцип власти присутствует минимально.

Следует отметить, что имперское пространство в одах Карамзина показано более чем «скромно» по сравнению, к примеру, с ломоносовскими одами, в которых горизонталь пространства выполняет функцию балансировки вертикали – лирического вдохновения или «головокружения» – и представляет собой возвышенную «географическую, политическую и космическую» панораму<sup>74</sup>. Карамзин явно отдает предпочтение прекрасному: имперское пространство как таковое становится не столько символом могущества и объектом восхищения, сколько «сияющим счастьем» прекрасным садом<sup>75</sup>.

Можно сделать вывод, что в одах Карамзина проявляется упадок традиции имперского возвышенного (отсутствие смеси ужаса с восторгом; «смягчение» добродетелей монархов; отсутствие «космической» имперской панорамы). А в конструировании эмоционального сообщества гораздо более значительную роль играет категория прекрасного (акцентируются «социальные» эмоции, сокращающие дистанцию между монархом и подданными). Поэтому можно говорить о внутрижанровом сдвиге от имперской поэтики (поэтики возвышенного) к поэтике нации (поэтике прекрасного), и этим сдвигом, по крайней мере отчасти, упадок этого жанра и обусловлен.

---

<sup>71</sup> Baehr S.L., *The Paradise Myth in Eighteenth-Century Russia: Utopian Patterns in Early Secular Russian Literature and Culture*, Stanford, California: Stanford University Press, 1991, p. 65.

<sup>72</sup> Карамзин Н., «На торжественное коронование Александра I», с. 267.

<sup>73</sup> Там же, с. 268.

<sup>74</sup> Ram H., *The Imperial Sublime...*, p. 66.

<sup>75</sup> Подробнее об этом см. далее анализ пространства.

## Поэтика нации в «Историческом похвальном слове Екатерине II»

«Похвальное слово» было написано как наставление Александру I по случаю его коронации<sup>76</sup>. Разными исследователями отмечалась его «нереалистичность». А.Н. Пыпин, обвиняя Карамзина в некорректности и неверности его исторических оценок в «Похвальном слове» и отмечая общность между жанром оды и похвальным словом, едко говорит, что они «распложают в старой литературе столько искажения правды и столько рабской лести /.../»<sup>77</sup>. Как отмечает П.Н. Берков, после смерти Екатерины II в 1796 году и вступления на престол Павла I не было напечатано ни одного произведения, в котором бы давалась характеристика ее правления. Сразу же после убийства Павла I начинает появляться литература о ней, а «выступление [Карамзина] с обширным произведением /.../ произвело исключительное впечатление»<sup>78</sup>. Берков называет его «ярким публицистическим трактатом, в котором /.../ автор изложил от своего имени и в форме исторического панегирика программу мероприятий, осуществления которых либеральная часть русского общества ожидала от Александра I»<sup>79</sup>. Кратко комментируя композицию «Похвального слова», он рассматривает его как иллюстрацию концепции самодержавия Карамзина<sup>80</sup>. Лотман называл это произведение «монархической утопией»<sup>81</sup>. Энтони Кросс пишет, что «Похвальное слово» представляет собой «фантазию о том, что могло бы быть»<sup>82</sup>. Он отмечает, что для Карамзина Екатерина II «стала необходимой частью его схемы развития

---

<sup>76</sup> Берков П., Макагоненко Г., «Вступительная статья: жизнь и творчество Н.М. Карамзина», в: Карамзин Н.М., *Избранные сочинения в двух томах*, том 1, Москва-Ленинград: «Художественная литература», 1964, с. 43.

<sup>77</sup> Пыпин А.Н., *Общественное движение при Александре I*, Санктпетербург: В типографии Ф. Сущинского, 1871, с. 230.

<sup>78</sup> Берков П.Н., *Проблемы исторического развития литератур*, Ленинград: «Художественная литература», 1981, с. 305.

<sup>79</sup> Там же.

<sup>80</sup> Берков П., Макагоненко Г., «Вступительная статья. Жизнь и творчество Н.М. Карамзина», с. 44.

<sup>81</sup> Лотман Ю.М., *Сотворение Карамзина*, Москва: «Книга», 1987, с. 279.

<sup>82</sup> Cross A.G., *N.M. Karamzin: a study of his literary career 1783-1803*, p. 208.

России, ее имя заняло место рядом с Петром Великим и Александром I. Для новых целей гражданской риторики Карамзин использовал все находки и весь пафос своего сентиментального стиля»<sup>83</sup>.

Данное произведение интересно не только с точки зрения идейных особенностей предназначенной для Александра политической программы, но также и тем, что в нем дается развернутая панорама «идеальных» отношений между монархом и подданными, другими словами, в нем изображается нация как некое идеальное воображаемое сообщество. Поэтому необходимо более подробно рассмотреть, каким образом в этом произведении функционируют категории возвышенного и прекрасного, и проанализировать значения элементов поэтики нации.

По сравнению с одами, в «Похвальном слове» в глаза бросаются две вещи: изменение отношения лирического героя (Карамзина) к монарху и гораздо более осязаемое присутствие имперского контекста. Если в одах поэт как бы со стороны констатирует «восторг» народа («Что слышу? Громы восклицаний»), то в «Похвальном слове» он его, прежде всего, испытывает сам. «Похвальное слово» начинается с типичных для жанра оды формул самоуменьшения: «Сограждане! Дерзаю говорить о Екатерине – и величие предмета изумляет меня. Едва произнес Ее имя, и мне кажется, что все бесчисленные народы царств Российских готовы внимать словам моим: ибо все обожали Великую» (5); или: «черты мои должны казаться слабыми»; «истина сильнее красноречия – и ваше сердце, о Россияне! возвысит действие моего слабого таланта» (6). Восторженный повествователь «удерживает порыв [своего] сердца», чтобы описать «величие» дня коронации Екатерины II.

Тем самым Карамзин из «бедного чижика, не дерзающего петь гремющей Зевса славы» (Екатерины II), которому «блеск Российския

---

<sup>83</sup> Ibid.

державы очи бранные слепит»<sup>84</sup>, превращается в поэта, охотно воспевающего сияние «божества» и державы. Поскольку в этом сочинении он изображает своего рода идеальное эмоциональное сообщество, то для него «риторическое» отождествление с «идеальным» образом монарха представляется вполне уместным. Его восторг перед «величием предмета» тождественен восторгу «бесчисленных народов» всей империи и, как и в «классическом» варианте имперского возвышенного, компенсируется описанием обширной географии империи и ее завоеваний.

Для того чтобы перейти к анализу специфики имперского пространства и пейзажа в «Похвальном слове», необходимо сделать несколько предварительных замечаний. Восприятие природы, территориальных и ландшафтных особенностей страны у Карамзина значимо не только в контексте его эстетических взглядов, но также и в связи с проблемой воображения «национального сообщества». Как пишет Кристофер Элай, в конце XVIII в. в России появляется «стремление идентифицировать свое отличительное национальное пространство», что отчасти было мотивировано ситуацией в европейских странах, в которых литераторы и художники пытались «выделить характерные черты и отличительные особенности территории, репрезентирующие “национальное сообщество”»<sup>85</sup>. Исследуя вопрос, каким образом в России концептуализировалась «естественная среда» в попытке «сконструировать привлекательный образ нации»<sup>86</sup> или – как исследователь формулирует вопрос в другом месте – каким образом формирование национальной идентичности связано с изображением и восприятием природы<sup>87</sup>, Элай уделяет внимание и Карамзину. Он показывает, что хотя Карамзин отдал должное европейской природе

---

<sup>84</sup> Карамзин Н., «Ответ моему приятелю, который хотел, чтобы я написал похвальную оду Великой Екатерине» (1793), в: Карамзин Н.М., *Полное собрание стихотворений*, с. 126. См. комментарий Логмана в этом же издании, с. 387.

<sup>85</sup> Ely Ch., *This Meager Nature...*, p. 7.

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Ibid., p. 23.

(предлагая российскому читателю разные ее образцы – величественные, живописные или пасторальные) и стал одним из самых влиятельных представителей сентиментально-пасторального взгляда на природу в России, тем не менее, с его точки зрения, он «никогда не смог примирить свою пасторальную любовь к природе с отдельной любовью к стране»<sup>88</sup>. Согласно Элаю, российский пейзаж как таковой, а не в его идеализированной форме, не смог стать для Карамзина объектом эстетического наслаждения и, соответственно, не сыграл решающей роли в его восприятии нации.

Несколько другую точку зрения на роль природы в конструировании образа нации предлагает Андреас Шенле, исследующий функцию живописного (*picturesque*) у Карамзина. Он показывает особенности восприятия живописного Карамзиным в «Письмах русского путешественника», а также в некоторых других прозаических произведениях, а именно в «Письме сельского жителя» (1803), «Путешествии вокруг Москвы» (1803), «Записках старого московского жителя» (1803). Шенле приходит к выводу, что живописное у Карамзина служило «интересам коллективного самоопределения, то есть самоопределения нации, перед которой стоит задача выработать оригинальную (*distinctive*) идентичность в соответствии с естественными условиями ее существования».<sup>89</sup> Шенле опирается на идею о связи живописного как эстетической категории с политическими воззрениями Карамзина. По его мнению, живописное в его текстах выполняло ту же функцию, как и в современной ему Англии, – образы живописной сельской местности, не затронутой индустриальной революцией и урбанизацией, противостояли процессу модернизации, направленному на стандартизацию жизни посредством технологического вторжения в природу и изменения традиционного образа жизни<sup>90</sup> – артикулируя

---

<sup>88</sup> Ibid., p. 51.

<sup>89</sup> Schönle A., *The Ruler in the Garden...*, p. 238.

<sup>90</sup> Ibid., p. 219.

«консервативную политическую программу»<sup>91</sup>. Шенле показывает, что у Карамзина живописное противопоставлялось возвышенному (в изображении природы) и было связано с разного рода «политическими и моральными импликациями»<sup>92</sup>.

Если возвышенное подчиняет себе субъекта (будь то величественная природа Швейцарии или Версальские сады, репрезентирующие власть монарха), то живописное с его акцентированием естественной, в наименьшей степени затронутой вмешательством человека природы (английские сады или живописные пейзажи в Швейцарии) подчеркивает свободу субъекта и его независимость от преобладающих нарративов власти. Например, эстетика живописного и просвещенные нравы и свобода в Швейцарии в восприятии Карамзина оказываются тесно связанными<sup>93</sup>. Исследователь показывает, что после Террора Французской революции отношение Карамзина к просвещению меняется: он отказывается от идеи необходимости «активного воздействия человека на мир» и идеи «либерального, самоопределяющегося автономного субъекта»<sup>94</sup> и начинает считать, что истинное просвещение заключается в возврате к традициям и природе (противопоставление искусственности и регулярности европейских садов естественности дикой природы). Аналог европейской живописной природе Карамзин находит в живописных окрестностях Москвы. При этом живописность Москвы коррелирует с патриархальными нравами ее жителей. Шенле делает вывод, что живописное у Карамзина подготавливало почву для идеализации традиционного жизненного уклада»<sup>95</sup>. Однако, как и Элай, Шенле согласен с тем, что поскольку живописность, приписываемая Карамзиным московским окрестностям, вовсе не распространялась им на территорию России в целом, ей не было суждено стать решающим

---

<sup>91</sup> Ibid., p. 220.

<sup>92</sup> Ibid., p. 230.

<sup>93</sup> Ibid., p. 232.

<sup>94</sup> Ibid., p. 220.

<sup>95</sup> Ibid., p. 236.

фактором в «становлении именно русской эстетики пейзажа, оказавшей влияние на концепцию национального характера»<sup>96</sup>.

Как видим, Элай в своем исследовании показывает, что хотя в своих произведениях Карамзин обратил внимание на конкретику ландшафта, однако способность наслаждаться русской природой так и не соединилась у него с «любовью к отечеству», то есть патриотизм и природа у Карамзина как бы попадают в разные рубрики<sup>97</sup>. Солидаризируясь в целом с выводом Элая, Шенле под другим углом показывает связь живописного в произведениях Карамзина с идеей о независимости субъекта по отношению к нарративам власти и, следовательно, со свободой и просвещением, с одной стороны, и с политической консервативной программой и идеализированием патриархального общества, – с другой.

В данной же работе важно показать, каким образом в текстах Карамзина специфика изображения природы связана с воображением определенного типа сообщества посредством категорий возвышенного и прекрасного. Следует отметить, что эмоциональная реакция карамзинского повествователя на живописное (если понимать под ним «приятное разнообразие») совмещает в себе аспекты переживания и возвышенного, и прекрасного (впечатления от величественных природных объектов и объектов более «малых»). Прекрасное в данном случае противоположно классицистической красоте с ее абстрактным идеалом симметрии и пропорции.

В контексте проблематики данной работы важно выделить два типа переживаний природы карамзинским повествователем: она может вызывать удовольствие (прекрасное) и восторженный ужас (возвышенное). Представляется, что в парадигму прекрасного у Карамзина попадает *locus amoenus*. Выше уже говорилось, что Карамзин в одах использует образ империи как сада и монарха как садовника.

---

<sup>96</sup> Ibid., p. 221.

<sup>97</sup> Ely Ch., *This Meager Nature...*, p. 50-51.

Стефан Байэр пишет, что мотив государства как сада связан с понятием *locus amoenus* («приятное место»), характерными признаками которого, как их формулирует греческий ритор IV века Полибий, являются: «весна, деревья, сады, мягкие бризы, цветы и голоса птиц»<sup>98</sup>. *Locus amoenus* в русской литературе XVIII в. использовался в основном для описания идеализированной сельской жизни или «райской России и царей, которые ее создали»<sup>99</sup>. Гитта Хаммарберг, подробно исследовавшая особенности *locus amoenus* в художественной прозе Карамзина, показывает, что в идиллии «проявляется тенденция к выделению границ интимного жизненного пространства»<sup>100</sup>. Идиллический мир «ограничен тем, что доступно восприятию чувств поэта – физическим (тактильным, слуховым, визуальным) или эмоционально-духовным»<sup>101</sup>.

Изображение *locus amoenus* характерно не только для прозаических идиллий Карамзина, но и в целом для изображения природы в его поэзии, преобладая над описаниями природы возвышенной (с элементами ужасного). Например, в стихотворениях «Весенняя песнь меланхолика» (1788), «Анакреонтические стихи А. А. П<етрову>» (1788), «Выздоровление» (1789), «Филлиде» (1790), «К прекрасной» (1791), «Весеннее чувство» (1793), «Молитва о дожде» (1793), «Послание к женщинам» (1795), «Лилея» (1795), «Надежда» (1796) мы видим Флору, «красоты весны», солнечные лучи, амброзию, зефиры, фиалки, лилеи, ясины, розы, луга, овечек, пение птичек, соловья (Филомелы) и т.д. Сентиментально-пасторальные мотивы в изображении природы попадают в парадигму прекрасного, которую здесь можно понимать и в берковском смысле. Берк пишет, что в качестве прекрасных воспринимаются относительно малые объекты, мягкие цвета, приятные звуки, плавно изменяющиеся контуры предметов, постоянно представляющие что-

---

<sup>98</sup> Baehr S. L., *The Paradise Myth in Eighteenth-Century Russia...*, p. 68.

<sup>99</sup> Ibid., p. 68-69.

<sup>100</sup> Hammarberg G., *From the idyll to the novel...*, p. 47.

<sup>101</sup> Ibid.

нибудь новое для чувств<sup>102</sup>, что, в свою очередь, противоположно источнику возвышенного в природе: любым видам «огромности», резким звукам, угловатым линиям и т.д.

В поэзии Карамзина возвышенная и прекрасная природа вполне отчетливо противопоставляются<sup>103</sup>. Например, в стихотворении «Мишеньке» (1790) поэт «в ужасе славил величие природы» при виде «страшных лавин», «мрачного, острого Шрекгорна» (гора в Швейцарии), который «гром, бури отражает». Этот пейзаж представляет типичное переживание возвышенного в берковском смысле – оно не утверждает силу разума субъекта, но подчиняет его себе, вызывая у него представление о более высоком порядке вещей. Далее в стихотворении «ужасу» противопоставляется совсем другой образ – «приятность, милость природы», «где Эльба, Рейн и Сона быстро мчатся между берегов цветущих»<sup>104</sup>. Ее «приятность» и «милость» основываются на удовольствии, главном аффекте прекрасного.

Возвышенной природе в поэзии может сопутствовать идея разрушения или смерти, как в романтической балладе «Раиса» (1791): черные тучи, буря на море, «гордо возвышающийся хребет гранитных горы» отражают внутреннее состояние покинутой Раисы, которая из-за несчастной любви «низвергается в море»<sup>105</sup>. В балладе «Алина» (из

---

<sup>102</sup> Берк Э., *Философское исследование...*, с. 139-142, 147.

<sup>103</sup> Следует отметить, что А.Н. Пашкуров выделяет отдельную типологическую ветвь «прекрасного возвышенного» и показывает, что в сентименталистской поэзии (и в частности у Карамзина) она преобладает «прежде всего в жанровой модели идиллии» (Пашкуров А.Н., *Жанрово-тематические модификации поэзии русского сентиментализма и предромантизма...*, с. 117). С его точки зрения, в самом «идиллическом топосе» заложено «расширение через Возвышенное» (Там же, с. 125), чему особенно способствует «весенняя поэтика», создающая «панораму Возвышенного Бесконечного Природы» (Там же, с. 102). При этом природа в сентиментализме осмысливается не как «переходная ступень к Трагическому Хаосу», а как переход к «Гармонизирующему Божественному началу» (Там же, с. 145).

В настоящей же работе представляется аналитически целесообразным четче разграничить прекрасное и возвышенное в природе (хотя они и тесно переплетаются между собой), делая особый акцент не на философских аспектах категорий (что подчеркивается у Пашкурова), а на эмоциональном восприятии природы повествователем/ персонажем, что позволяет перейти к обсуждению эмоций, которые объединяют субъектов в эмоциональное сообщество, и, соответственно, проблематики власти (в текстах Карамзина можно провести параллель между языком описания природы и языком описания эмоционального сообщества).

<sup>104</sup> Карамзин Н., *Полное собрание стихотворений*, с. 81.

<sup>105</sup> Там же, с. 104.

«Писем русского путешественника») героиня, узнав, что Милон «пленен сердцем другой женщины», незадолго до самоубийства идет «в мрачный лес», в «храм уединенный», в развалинах которого «свистит ветер» и в котором – она узнает – покончили с жизнью любовники, Фальдони и Тереза. Развалины храма в балладе предвосхищают смерть героини. Таким образом, возвышенное в природе может выполнять «негативную» функцию, связанную с идеей смерти и разрушения. С другой стороны, оно выполняет «позитивную» функцию в описаниях побед России в войнах, которым сопутствуют образы возвышенной природы, покоряемой «россиянами», «повелевающими стихиями» (19), и «гением Монархини» (17). Тем самым, подвиг покорения природы позволяет артикулировать возвышенный характер власти.

Эти предварительные замечания позволяют обратиться к рассмотрению специфики пространства и пейзажа в «Похвальном слове».

### **«Красота» и «возвышенность» империи**

В «Похвальном слове» обращает на себя внимание более широкая географическая имперская панорама, нежели в одах<sup>106</sup>. Она охватывает и южный вектор расширения империи (Таврида, Кавказ, победы в русско-турецких войнах), и западный (Польша), и восточный – Сибирь. Уже в самом первом абзаце «изумлению» Карамзина перед «величием предмета», Екатериной II, вторит и все население империи: все «обожали» Екатерину, «и те, которые, скрываясь во мраке отдаления – под тению снежного Кавказа, или за вечными льдами пустынной Сибири – никогда не зрели спасительного образа Бессмертной, и те чувствовали спасительное действие Ее правления; и для тех была Она Божеством, невидимым, но благотворным» (5). Пространство империи

---

<sup>106</sup> Наличие «имперского пространственного контекста» в «Похвальном слове» отмечал, в частности, Казаков Р.Б. в статье «Географические реалии “Исторического похвального слова Екатерине II” Н.М. Карамзина» (в: *Историческая география: пространство человека vs человек в пространстве: материалы XXIII междунар. науч. конф.*, Москва, 27-29 янв. 2011 г., Москва: РГГУ, 2011, с. 263-267).

воспринимается повествователем как возвышенное: вертикаль Кавказа балансируется горизонталью пустынных пространств Сибири. «Мрак отдаления» и «тень» символизируют неясность, пористость границ, их тенденцию изменяться, расширяться, терять четкие очертания, поскольку «отдаление» входит в один ассоциативный ряд с удаляющейся линией горизонта.

В данном произведении, как и у Ломоносова, стирается четкая разница в восприятии этнически русского центра и периферии и превалирует «потенциальная бесконечность удаляющихся границ империи»<sup>107</sup>. Имперское пространство маркировано «незримым» присутствием Екатерины-«божества», которая сравнивается с солнцем и власть которой неограниченно распространяется в огромном пространстве. «Огромность» империи с трудом поддается осмыслению: «воображаю сии *едва вообразимые* пространства» (85). Кроме того, источником переживания возвышенного является не только неизмеримость пространства, но и его гетерогенность: в нем «столько морей и народов волнуется», «столько климатов цветет и свирепствует»; неизмеримости степей противопоставляется высота гор (85). Характерно, что «История государства Российского» начинается с констатации принципиально возвышенной и таинственной природы образования империи. Стоит процитировать отрывок полностью:

Взглянем на пространство сей единственной Державы: мысль цепенеет; никогда Рим в своем величии не мог равняться с нею, господствуя от Тибра до Кавказа, Эльбы и песков Африканских. Не удивительно ли, как земли, разделенные вечными преградами естества, неизмеримыми пустынями и лесами непроходимыми, холодными и жаркими климатами, как Астрахань и Лапландия, Сибирь и Бессарабия, могли составить одну Державу с Москвою? Менее ли чудесна и смесь ее жителей, разноплеменных, разнородных и столь удаленных друг от друга в степенях образования?<sup>108</sup>

Здесь обнаруживаются основные составляющие карамзинского восприятия империи: 1. Огромное пространство. 2. Параллель с Римской империей. 3. Неоднородность пространства и населяющих его народов.

<sup>107</sup> Ram H., *The Imperial Sublime...*, p. 77.

<sup>108</sup> Карамзин Н., *История государства Российского*, том 1, издание 2-ое, испр., Санктпетербург: В типографии Н. Греча, с. XII.

Ниже будет показано, каким образом в «Похвальном слове» «выдерживается» установка на возвышенный характер империи.

Специфика гетерогенности имперского пространства в «Похвальном слове» заключается в том, что оно делится на культурный центр и «дикую» периферию, подлежащую «окультуриванию». Так, Карамзин пишет: «Российское государство представляло взору Монархини многие обширные страны, обогащенные натурою, но пустые, ненаселенные» (43), покрытые «дикими лесами» и «пустынями»<sup>109</sup>. Екатерина II привлекает иностранцев для «окультуривания» пространства: «звук секиры раздались в диких лесах», «плуг углубился в свежую землю» (43). Знаки культуры – «секира», «плуг» – противопоставляются природе: «свежей земле», «диким лесам», «пустыне». Можно сказать, что Екатерина II выполняет задачу внутренней колонизации<sup>110</sup>, направленную на освоение внутренних «диких» пространств.

Одним из таких является «ледяная» Сибирь, которая воспринимается как «чужое» пространство по отношению к культурному центру, будучи «хладным гробом живых», куда ссылаются «изверги» (39). Ян Кусбер пишет, что восприятие Сибири как воплощения «чуждости» было характерно для XVIII в., в особенности после работ Василия Татищева, в которых Сибирь как регион четко отделяется от европейской части России<sup>111</sup>. В «Истории государства Российского» пространство Сибири (в районе Печоры, Каменного пояса) представляет собой «во многих местах неприступные горы, где и в летние месяцы не является глазам ничего, кроме ужасных пустынь, голых утесов, стремнин, печальных кедров и хищных белых кречетов, но где, под мшистыми

---

<sup>109</sup> Карамзин пишет: «Подобно Америке Россия имеет своих Диких; подобно другим странам Европы являет плоды долговременной гражданской жизни/.../» (Там же, с. XII).

<sup>110</sup> Внутренняя колонизация в данном месте понимается не в смысле идеи Эткинда о «самоколонизации» или «освоении» русского народа как «Другого» по отношению к правящей европеизированной элите. Под этим понятием имеется в виду процесс заселения пустующих земель своей страны.

<sup>111</sup> Kusber J., "Mastering the Imperial Space: The Case of Siberia. Theoretical Approaches and Recent Directions of Research", *Ab Imperio*, 4/2008, p. 57.

гранитами, скрываются богатые жилы металлов и цветные камни драгоценные»<sup>112</sup>. В другом месте Сибирь характеризуется как «второй новый мир для Европы, безлюдный и хладный, но привольный для жизни человеческой, ознаменованный разнообразием, величием, богатством естества, где в недрах земли лежат металлы и камни драгоценные, в глуши дремучих лесов витают пушистые звери /.../»<sup>113</sup>. Так, пространство Сибири наделяется возвышенностью, поскольку, с одной стороны, оно связано с идеями смерти, неприступности, бесконечности, величия природы, а с другой – коннотирует представление о скрытых богатствах (так же, «как золото и серебро Нового мира для Иберийских империй»<sup>114</sup>).

«Хладные» величественные пространства Сибири как таковые не являются источником поэтического вдохновения для Карамзина. В оде Павлу I он пишет, что когда наступит золотой век, то «среди сибирских льдов» монарх увидит «луга, покрытые цветами» и «поля с обильными плодами»<sup>115</sup>. Все пространство империи «от врат зимы, Камчатских льдов» до «красных Невских берегов» и «стран Колхиды и Эвксина» должно превратиться в «Эдем»<sup>116</sup>. Таким образом, дикая величественная природа, с одной стороны, наделяется возвышенностью, а с другой – является природным пространством, подлежащим «окультуриванию». И это не случайно, так как дикая возвышенность в разных текстах Карамзина зачастую выступает как знак хаоса или нестабильности, которые должны контролироваться.

Характерно, что изображение природы в одах и «Похвальном слове» коррелирует с определенным типом эмоционального сообщества и государственного управления. Например, республиканскому типу

---

<sup>112</sup> Карамзин Н., *История государства Российского*, том 6, издание 2-ое, испр., Санктпетербург: В типографии Н. Греча, 1819, с. 285.

<sup>113</sup> Карамзин Н., *История государства Российского*, том 9, Санктпетербург: В типографии Н. Греча, 1821, с. 370.

<sup>114</sup> Bassin M., *Imperial Visions: Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840-1865*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 19.

<sup>115</sup> Карамзин Н., «Ода на случай присяги московских жителей Павлу I», с. 188.

<sup>116</sup> Карамзин Н., «На торжественное коронование Александра I...», с. 267.

правления или, как его характеризует Карамзин, «дикой республиканской независимости», соответствуют «места, подобно ей дикие и неприступные, на снежных Альпийских громадах, среди острых гранитов и глубоких пропастей, где от вечных ужасов природы безмолвствуют страсти в холодной душе людей, и где человек, не зная многих потребностей, может довольствоваться немногими законами Природы!» (50). Находя соответствие между возвышенной дикой природой, «отсутствием страстей» и республиканским правлением, Карамзин идет вслед за идеей Монтескье о зависимости типа государственного правления и характера народа от климата<sup>117</sup>. Звучащие в вышеприведенном отрывке стоические мотивы – подавление страстей, способность довольствоваться немногим – связаны с карамзинскими представлениями о республике, на которые указывал Лотман: по мнению Карамзина, республика должна быть основана на «добродетели и диктаторской дисциплине»<sup>118</sup>. Поскольку добродетель в реальности почти недостижима, то, учитывая «неангельскую» природу людей, Карамзин отводит идеальное место для реализации республиканской независимости в диких местах (50), так как в ином месте республика просто не сможет согласовать «многосложные и различные части» (48). В качестве примера республиканской «неудачи» после отказа подчиниться возвышенной монархической власти он приводит Францию, в которой «прекрасное здание общественного благоустройства» разрушилось после того, как народ вздумал «управлять сам собою» (49). Здесь народ подчиняется не возвышенному монархическому нарративу власти, а возвышенной природе, которая, делая их сердца «хладными», при этом дает им возможность жить независимо и управлять «самим собою».

Можно обнаружить интересную параллель между идеей равенства и изображением природы в оде Александру I. После того как

---

<sup>117</sup> Монтескье Ш.Л., *О духе законов или об отношениях, в которых законы должны находиться к устройству каждого правления, к нравам, климату, религии, торговле, и т.д.*, пер. с фр., С-Петербург: Издание Л.Ф. Пантелеева, 1900, с. 11.

<sup>118</sup> Лотман Ю.М., «Поэзия Карамзина», с. 9.

лирический герой говорит, что «равенство одна мечта», следует описание природы: «Приятна зрению картина/ Различною игрой цветов;/ Для глаз печальна та равнина,/ Где нет ни рощей, ни холмов»<sup>119</sup>. Благополучной и естественной моделью общества или «жизни народа» является образ «слабого мирта», «низких древ», которые спокойно растут «дубом осененные»<sup>120</sup> и защищенные от «бури грозной» (самодержавие). Монотонность плоского ландшафта (символизирующего равенство) противопоставляется красоте «приятного разнообразия»<sup>121</sup> в пейзаже и, соответственно, «приятному» сообществу, являющемуся более «живым», чем сообщество «хладных сердец» в республике<sup>122</sup>. В отличие от республиканского, самодержавное правление характеризуется тем, что народ, отказываясь от самоуправления, подчиняется возвышенной власти. Возвышенное самодержавное правление способствует проявлению прекрасного в сообществе (общение<sup>123</sup>, «невинные радости»), и любовь к самодержавию интериоризируется в «чувствительных сердцах» подданных (в противоположность «хладным» сердцам)<sup>124</sup>.

Единственное место, которым Карамзин восхищается в Российской империи, – это Таврида, или Крым, «сия прекрасная часть нашей Империи» (22). Разнообразие ее природы «объединяет» в себе виды Швейцарии и Пьемонта и их «нежные» и «величественные» красоты, которыми «чувствительное сердце /.../ может насладиться» (24).

---

<sup>119</sup> Там же, с. 266.

<sup>120</sup> Там же.

<sup>121</sup> Как говорит Берк, «все, что очень долго тянется в одном и том же направлении, все, что очень резко меняется, не может быть прекрасным» (Берк Э., *Философское исследование...*, с. 178).

<sup>122</sup> Шенле для пояснения того, как понимал живописное Карамзин, приводит в пример описание Лейпцига в «Письмах русского путешественника»: «Местоположение Лейпцига не так живописно, как Дрездена; он лежит среди равнин, – но как сии равнины хорошо обработаны и, так сказать, убраны полями, садами, рощицами и деревеньками, то взор находит тут довольно разнообразия и не скоро утомляется» (Schönle A., *The Ruler in the Garden...*, p. 227).

<sup>123</sup> Прекрасное, по Берку, связано с идеей общения в узком смысле (общение между полями) и в широком – с людьми в целом. Главным его аффектом является удовольствие или любовь (см.: Берк Э., *Философское исследование...*, с. 84).

<sup>124</sup> Подробнее о чувствительности см. подраздел I части «Эмоциональное сообщество и его аффективная граница».

Таким образом, Таврида и Сибирь, не предназначенная для «чувствительных сердец», представляют два диаметрально противоположных по своей семантике пространства.

Как дикость подлежит «окультуриванию» и «усмирению», так и «невообразимой» империи Карамзин предпочитает «отструктурированное» пространство. Например, он пишет об указе Екатерины II о делении империи на губернии: «Монархиня повелела – и Россия, дотоле несоразмерная в частях своих, подобно дикому произведению Натуры или слепого случая, приняла вид гармонического размера, подобно творению совершенного искусства; части сравнялись между собой, и каждая Губерния ограничилась удобнейшим для нее пространством» (74). «Гармонический размер» коррелирует с образом империи как сада в одах.

Можно сделать вывод, что возвышенное у Карамзина «подчиняется» прекрасному: дикое величественное пространство «одомашнивается», становится «удобным», «своим» и «интеллигибельным». Процесс «усмирения» дикости находит параллель в законодательной деятельности: «Екатерина, подобно Божеству, согласила все словом Своим» – единое законодательство на всей территории империи, объединяющее такие разнородные пространства, как «берега Ледовитого моря» и Невы, и превращающее «бесчисленные страны Российские [в] разные семейства единого отечества», приводит «дух [Карамзина] в восхищение» (85). Таким образом, сложность «воображения невообразимого», то есть пространства империи, компенсируется ее «гармоническим размером». А ее контрастность и гетерогенность, являющиеся источником переживания возвышенного, которое выражаются в восторге Карамзина, «конкурируют» с образом империи как прекрасного «сада».

### Эмоциональное сообщество и его аффективная граница

В «Похвальном слове» особую роль играет аффективная граница между Россией и другими странами. Поскольку в этом произведении речь идет о двух русско-турецких войнах и разделе Польши, то специфика аффективной границы определяется тем, что она выстраивается между Россией и ее «врагами». Важно отметить, что эмоции, конструирующие эту границу, и эмоции, конструирующие эмоциональное сообщество «внутри» страны, не всегда совпадают.

Главными эмоциями, формирующими аффективную границу между странами, являются *страх* и *ужас*. Оттоманская Порта характеризуется следующим образом: «по своему закону и духу правления /.../ опасный враг России», «природный и вечный неприятель Христиан» (14); «страшные завоеватели Востока», «ужас Европы, истребители славных армий ее» (16); Крым – «ужас и бич нашего отечества» (19), «страшные янычары» (30); «колосс ужасный», который Екатерина II «потрясла и отчасти разрушила» (36).

В этих примерах *ужас* обладает негативной коннотацией посредством семантической связи с варварством и татарскими набегами: Крым – «гнездо разбойников, опасных для России» (22), «последнее убежище варваров, бывших некогда ужасом и бичом нашего отечества» (19). *Ужасу* противопоставляется «положительный» *страх*, который вызывает Россия: «Монархиня оставила Россию на высшей степени геройского величия /.../ безопасную внутри, *страшную* для внешних неприятелей» (35); «Европа с благоговением взирала на Трон России» (36). Способность вызывать страх у «Другого» является важным качеством, благодаря которому возможен *покой* в своей стране. Уже в «Похвальном слове» заметен «политический реализм» Карамзина (говоря словами Лотмана)<sup>125</sup>: Карамзин отмечает противоречие между «прекрасной мечтой всемирного согласия и братства, столь милой душам

---

<sup>125</sup> См.: III часть, подраздел «Конструирование нации как эмоционального сообщества: роль категорий возвышенного и прекрасного».

нежным» и требованиями «внешней безопасности», которая «есть могущество!» (13). В поддержании внешней безопасности участвует «экономия» страха<sup>126</sup>. От способности вызывать его у «других» зависит «политическое бытие» народа: «слабый народ *трепещет*; сильный, под эгидою величия, свободно *наслаждается* политическим бытием» (14). Наслаждение, которое, по мнению Берка, основывается на удовольствии, относится к социальным аффектам, направленным на общение<sup>127</sup>. Как было показано в одах, *покой* актуализирует такие аффекты, как удовольствие, любовь и радость, способствующие общению и являющиеся выражением прекрасного. Однако для того, чтобы это стало возможным, необходимо задействовать и политический принцип, основывающийся на силе и страхе. Так, уже в «Похвальном слове» заметно «трение» между двумя конфликтующими принципами: силы и дружбы, или возвышенного и прекрасного. Следование принципу силы подводит к необходимости расширения и усиления империи: Петр I и Екатерина II «хотели приобретений, но единственно для пользы России,

---

<sup>126</sup> Восприятие «страха» и «ужаса» как позитивных атрибутов России весьма характерно для од. Например, в одах Ломоносова: Анна – «Любовь России, *страх* врагов» («Ода блаженной памяти государыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года», в: Ломоносов М.В., *Избранные произведения*, с. 69); «Таков был Петр врагам *ужасен*./ Своим отец, везде *велик*» («Ода на день восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны 1746 года», в: Ломоносов М.В., *Указ. соч.*, с. 109). Также в одах широко распространен топос «дерзости», «злости» врага: «Где, Мустафа, твое *свирепство*./ Которым россов мнил пожрать?/ Где *злых* янычар *ярость*, *зверство*?/ Еще ль ты мыслишь восставать /.../ Противу войск, полков орлиных,/ Их уповая победить?» (Хемницер И.И., «Ода на славную победу ... над турками и татарами при устье реки Кагулы... июля 21, 1770 года», в: Хемницер И.И., *Полное собрание стихотворений*, Москва-Ленинград: «Советский писатель», 1963, с. 192); «Сие России дух, Стамбул, тебе речет;/ Но враг, *рассвирепев*, на пагубу течет, /.../ Своей суровостью и *злой* ослеплен./ Тем паче *зверствует*, чем больше изъязвлен./ Такая движет *злость* ко брани оттоманов/ Противу северных орлов, как *хищных* вранов» (Херасков М.М., «Чесмесский бой» (1771), в: Херасков М.М., *Избранные произведения*, Москва-Ленинград: «Советский писатель», 1961, с. 146); «Покрыты лаврами дороги,/ Моих следы где видны сил;/ Не люди, мнится, полубоги/ Попрали *гордый* Измаил/ Помедлите, любезны музы,/ Доколь Орел затмит Луну,/ Срацинску *гордость* ввергнет в узы» (Херасков М.М., «Ода ее императорскому величеству на день высокотожественного ее восшествия на всероссийский престол, июня 28, 1791 года», в: Херасков М.М., *Указ. соч.*, с. 71-72); «Россия *наглу* презирает/ Твою державу, оттоман /.../ Хотя ты в *ярости* *злей* ада/ Стремисься против нас, Стамбул, /.../ Пройдем сквозь пыль, сквозь дым и пламень /.../ К Неве Европа взоры мечет,/ На троне Мустафа *скрежещет*./ И Порта *гордая* дрожит» (Сумароков А.П., «Ода государыне императрице Екатерине II на взятие Хотина и покорение Молдавии» (1769), в: Сумароков А.П., *Избранные произведения*, с. 73-74). Таким образом, Карамзин заимствует риторичность, характерную для русских од в целом.

<sup>127</sup> Берк Э., *Философское исследование...*, с. 71.

для /.../ внешней безопасности, без которой всякое внутреннее благо не надежно» (14).

Идея о необходимости безопасности границ поддерживается и описанием «аффективной динамики» войны в терминах «дерзости», «гордости», «безрассудства» (14), зависти и «оскорбления величия» (со стороны «врагов»): «Едва Монархиня успела привести в лучший порядок внутреннее правление государства, уже *дерзостный* Мустафа *оскорбил величие* России; объявил себя союзником польских мятежников/.../» (15); «Густав истощил все способы ума и *дерзости* своей – напрасно и без успеха» (29); «Когда *завистники* Екатерины, сильные Цари, радовались нашему бедствию, и грозили Ей новою войною..., тогда надлежало видеть славу мужественных Ее добродетелей» (122). Поражение в войне соответственно определяется как «смирение» или «потрясение»: «Мустафа смирился» (19); «Оттоманская Порта содрогнулась» (24). В семантическое поле дерзости входят лексемы «ослепления», «обольщения», «безрассудства» (в словаре Даля «дерзкий» определяется следующим образом: «весьма отважный, неустрашимый; безрассудно, неуместно решительный; наглый, непокорный; дерзать – «сметь /.../; решаться, посягать<sup>128</sup>). Например, «обольщенный» и «ослепленный высокомерием» (30) Густав «дерзает» объявить России войну и затем признает свое «заблуждение»; «дерзостный Мустафа» является «врагом безрассудным» (14). Образ противника как «дерзкого» актуализирует программу его «наказания», которое концептуализируется как «смирение». На фоне «дерзкого» врага выделяется миролюбие России: Екатерина II «никогда сама не разрывала мира» (14). Военные действия империи определяются как имеющие «защитный» характер: активность и инициатива принадлежит «дерзким» врагам (дерзость содержит в себе сему активности), а не Екатерине II. «Безрассудство» и обольщение нарушают правила и порядок, которые требуют восстановления.

---

<sup>128</sup> Даль В.И., *Толковый словарь живого великорусского языка*, том 1, А-З, Москва: Олма-Пресс, 2004, с. 400.

В конструировании аффективной границы между Крымом и Россией, и Россией и Польшей используются телесные метафоры, задействующие сему «боли». Если Крым был назван «*бичем* отечества», то, говоря о Польше, Карамзин восклицает: «давно ли /.../ Польша *терзала* наше отечество? Давно ли она, пользуясь его изнеможением, *хищною* рукою хватала в свое подданство целые княжества Российские» (22), а «Москва цветущая лежала у ног *гордого* вождя Сарматского?» (22). По своей «хищности» и истязанию «тела» России Польша попадает в ту же категорию, что и Крым. Как и Порта, испытывающая «тайную злобу», Польша «волнуется и кипит злобою на Россию» (24). В оценке Польши Карамзин не оригинален, разделяя представления о ней, развитые в других русских одах, в которых акцентируется «лукавство» Польши и ее «неверность»<sup>129</sup>. Аффективная граница с Польшей и Портой – самая болевая. «Терзание» содержит значения и «нравственной муки», и физического действия: «разорвать на части, располосовать зубами, когтями»<sup>130</sup>. А «неверность» задействует самую сильную из негативных реакций – гнев: Россия «восстает в гнев своем» (22) против Польши. «Вероломный» Густав III (война со Швецией 1788-1790 г.) также вызывает «гнев» (28). Даль определяет гнев как «сильное чувство негодования; страстную, порывистую досаду; запальчивый порыв, вспышку»<sup>131</sup>. Из этого можно сделать вывод, что он не является «длительной» эмоцией, подобно «тайной злобе», подразумевающей «программу» мести. Военные действия России в отношении Польши и

---

<sup>129</sup> Например, И.И. Дмитриев пишет в оде «Глас патриота на взятие Варшавы» (1794): «Где буйны, гордые титаны,/ Смутившие Астреи дни?/ Стремглав низвержены, пограны /.../ Вопи союзница лукава,/ Отныне ставшая рабой /.../ Ходи с поникшею главой; /.../ В терзаньях совести ужасных» (Дмитриев И.И., *Полное собрание стихотворений*, с. 73). У Державина в «На взятие Варшавы» мы видим: «Лежит, изменница, и взоры,/ Потупя, обращает вокруг;/ Терзают грудь ее укоры,/ Что раздражила кроткий дух,/ Склонилась на совет змеиный,/ Отвергла щит Екатерины, /.../ Сидит орел на гидре злобной» (Державин Г.Р., *Сочинения Державина. С объяснительными примечаниями Я. Грота*, том 1, Санктпетербург: В типографии Императорской академии наук, 1864, с. 645.

Об отношении Карамзина к польской проблеме см.: Black J.L., "Nicholas Karamzin's 'Opinion' on Poland: 1819", *The International History Review*, Vol. 3, № 1, (Jan. 1981), p. 1-19.

<sup>130</sup> Даль В.И., *Толковый словарь живого великорусского языка*, том 2, II-V, Москва: Олма-Пресс, 2002, с. 771.

<sup>131</sup> Даль В.И., *Толковый словарь...*, том 1, с. 339.

Швеции подлежат оправданию, поскольку мотивируются гневом, вызванным нарушением ее «доверия» к этим странам. Это позволяет Карамзину конструировать более позитивный образ России.

Таким образом, в приведенных выше примерах конструирование «врагов» как «дерзких», «вероломных», «лукавых» или «безрассудных» позволяет концептуализировать войну с помощью метафоры их справедливого наказания, необходимого для поддержания внешней безопасности. А способность вызывать возвышенный страх у «врагов», связанная с применением силы, становится важнейшим фактором для поддержания благоденствия (*покоя*) внутри страны.

Для выстраивания аффективных отношений между монархом и подданными внутри страны важное значение имеют добродетели Екатерины II. Как и Александр I и Павел I, Екатерина II противопоставляется Петру I: «мужественный», «смелый», «грозный» «полубог» предстает как «сильный порыв ветра», который должен «развеять хладные остатки зимних паров и приготовить Натуру» к символизирующему приход Екатерины II «теплому веянию Зефиров» (8).

Императрица, как и воспетые в одах Карамзина ее преемники, совмещает в себе возвышенные и прекрасные добродетели. С одной стороны, она изображается как «божество», «солнце» или «Паллада», окруженная героями и аллегорическими фигурами «Мужества» и «Славы»: в тексте отмечается «твердость», «мужественность», «истинное геройство» ее души (122). А с другой – она наделяется мягкими качествами и характеризуется как: «кроткая», «человеколюбивая», «просвещенная», «скромная любезность», «ангельский вид», «редкое соединение божественных прелестей», «приятность ума», «кроткая мудрость». Постоянно подчеркиваются ее «семейные добродетели» – она неизменно называется «матерью отечества»: «Мать отечества была и самую нежнейшею матерью семейства» (126), однако при необходимости «царским долгом побеждала нежность своего сердца», «ведая ту черту, которая отделяет небесную добродетель от слабости» (124).

Величественное в Екатерине II находится в гармонии с прекрасным: «Великая в героях сохранила на троне нежную чувствительность Своего пола, которая вступалась за несчастных, за самых виновных» (123). Именно мягкие добродетели «произвели к Ней всеобщую любовь двора» (10). Таким образом, в тексте конструируется образ Екатерины II как идеального монарха, удачно совмещающего в себе возвышенное и прекрасное, причем, как и в случае Александра I и Павла I, приоритет отдается прекрасному.

Каким образом монарх и подданные объединяются в одно **эмоциональное сообщество**? Прекрасные добродетели в большей степени, чем возвышенные, обладают «властью» над подданными, а эмоцией, которая объединяет монархиню и подданных, является *любовь*, противопоставляемая страху и принуждению. Карамзин пишет: «спрашиваю у всех Россиян: было ли что-нибудь оскорбительное для человеческой гордости, что-нибудь тягостное для самолюбия в чувствах нашего беспредельного к Ней повиновения? Не казалось ли оно природным влечением сердца, необходимостью души, ее любезной потребностью? /.../ [россияне], повинуюсь, не знали принуждения. /.../ Благоговея пред Обладательницею народов, сердца Россиян обожали Екатерину» (124).

Подданные лояльны монарху не столько в результате подчинения абстрактным законам или из соображений расчета или выгоды, а, скорее, спонтанно, следуя природному влечению. С точки зрения Карамзина, простого подчинения законам явно не достаточно – очень важным здесь является искренность сопутствующих чувств. В соответствии с сентименталистскими принципами истинно и аутентично то, что исходит из сердца. Именно сердцем Карамзин проверяет искренность слов Екатерины II. Его реакция на ее заявление (в «Наказе») о том, что монарх живет для народа, а не народ для монарха, звучит следующим образом: «Я верю своему сердцу: ваше конечно то же чувствует... Сograждане, сердце мое трепещет от восторга: удивление и

благодарность производят его» (68). Помимо всеобщей любви, являющейся одной из главных ценностей сентиментализма, в «Похвальном слове» Карамзин артикулирует миф о любви, который создавала о себе и активно поддерживала сама Екатерина II<sup>132</sup>.

Для Карамзина любить монарха – то же самое, что любить отечество, поскольку монарх и являет собой «образ отечества» (59). Как уже говорилось, с точки зрения Берка, для эффективного функционирования общества важно совмещение социального принципа дружбы с политическим принципом власти<sup>133</sup> (символизируемых матерью и отцом). На одном принципе дружбы общество держаться не может – чем больше общество, тем слабее его влияние, и тем необходимее становится принцип власти. Карамзин явно предпочитает принцип дружбы. Подчеркивая «семейные» добродетели Екатерины II, он выстраивает идеальную модель нации как семьи во главе с монархом (51). А модель семейных отношений, основанная на любви, переносится на «большую семью», максимально сокращая дистанцию между подданными и монархом.

Возвышенное, связанное с идеей боли и опасности, в крайней степени своего воздействия властно подчиняет себе воспринимающего субъекта, так что человек даже «не может размышлять о том объекте, который его занимает»<sup>134</sup>. Можно сказать, что прекрасное, связанное с идеей удовольствия, действует как «мягкая сила». Карамзин пишет об отношении к Екатерине II: «Мы не боимся, ибо любим тебя» (38). Кроме того, подчинение ей представляет собой «любезную потребность», «необходимость души» (124). Берк пишет, что человек боится объектов, являющихся источником возвышенного, поскольку оно подчиняет себе («неудовольствие всегда причиняется силой, несколько превосходящей нашу»), и любит прекрасное, поскольку оно подчиняется человеку

---

<sup>132</sup> Schierle I., “Patriotism and Emotions: Love of the Fatherland in Catherinian Russia“, *Ab Imperio*, 2009, № 3, p. 65-93.

<sup>133</sup> Wood N., “The Aesthetic Dimension of Burke’s Political Thought”, p. 175.

<sup>134</sup> Берк Э., *Философское исследование...*, с. 88.

(«удовольствие следует за желанием»)<sup>135</sup>. Прекрасные добродетели Екатерины II выполняют функцию, схожую с той, которую выполняет «очеловечивание» Павла I и Александра I – монархиня становится более «доступной», вызывая по отношению к себе в большей степени любовь, нежели страх. В подчинении подданных Екатерине II можно выделить мотив «подчинения без принуждения» (124). «Преломленный» «жестл страха» противопоставляется «масличной ветви любви» (38), а сама Екатерина II, в которой подчеркивается «мягкая сила», противопоставляется «грозным божествам» – «самовластным владыкам» (38). Таким образом, модель естественной любви детей к родителям в семье переносится на отношения подданных к монарху, испытывающих к нему «природное влечение» (124).

В аффективное сообщество, объединенное любовью, включаются не только русские, но и «дикие», которые «обожают Великую», а также иностранцы: «Чужеземцы! Вы, которые из отдаленных климатов приезжали в Россию единственно за тем, чтобы видеть Екатерину! скажите, с каким чувством вы приближались к Ней, когда Она /.../ взирала на вас с величием? Не представлялось ли вам, что вы зрите Монархиню мира и вашу собственную? /.../ Но вы, которые наслаждались неоцененным счастьем видеть и слышать Ее, когда Она от величия снисходила к любезности, и как бы переставая быть Монархиней, являлась только в виде /.../ дружественной искренности /.../ Вы с удивлением и слезами говорите о сих часах, которые вам казались минутами /.../» (125). Именно любезность, искренность, то есть мягкие добродетели, действуют наиболее сильно, максимально сокращая дистанцию между монархиней и подданными, что способствует их объединению в одно эмоциональное сообщество. Важно отметить, что оно происходит не по этническому признаку, а в зависимости от степени искренности чувств и лояльности подданных – достаточно воспринимать монархиню как «свою» и испытывать чувства, критерием истинности

---

<sup>135</sup> Там же, с. 95.

которых являются слезы. Характерно то, что в «Похвальном слове» адресатом текста являются «сограждане» или «россияне» – в тексте нигде не встречается обращение к «русским». «Сограждане» охватывают собой все имперское разнообразие населения. Например, депутаты, собравшиеся слушать «Наказ» Екатерины II, являются представителями таких разных народов, как «лапландские ихтиофаги», камчадалы «в звериных кожах», самоеды, финны (47).

С точки зрения Рональда Суни, «эмоциональные валентности империй устроены совсем не так, как в аффективных сообществах, называемых нациями»: имперская власть основана на «страхе и благоговении» перед императором, а нация основывается на «разделяемых большинством эмоциях любви и родства /.../ и горизонтальной равноценности»<sup>136</sup>. Представляется, что такая разница в «эмоциональной валентности» существует не всегда, и нация может воображаться не обязательно как сообщество основанное на горизонтальных связях. Патриархальный образ нации во главе с матерью/отцом у Карамзина совмещается с образом империи как семьи во главе с императрицей: при этом зачастую используется одинаковая эмоциональная риторика.

О важности эмоциональной составляющей отношения подданных к **законам** в конструировании эмоционального сообщества можно судить по тому вниманию, которое Карамзин уделяет в «Похвальном слове» этому аспекту «Наказа» Екатерины II и некоторых других ее законодательных актов. В эмоциональном восприятии законов Карамзиным можно обнаружить параллель с восприятием законов Берком. Как пишет Вуд, Берк проводил параллель между восхищением (*admiration*) произведениями искусства и восхищением перед величием британской конституции, способной повергать граждан в трепет (*awe-*

---

<sup>136</sup> Суни Р.Г., «Аффективные сообщества: структура государства и нации в Российской империи», в: *Российская империя чувств...*, с. 99.

*inspiring*)<sup>137</sup> и вызывающей у них желание повиноваться, то есть для Берка британская конституция является источником возвышенного. Современник Берка, Вильям Блэкстоун, воспринимал конституцию не только как величественную, но и прекрасную, то есть обладающую качествами симметрии, гармоничности и рациональности<sup>138</sup>. В «Похвальном слове» обращает на себя внимание то, что Карамзин говорит не просто о содержании законов, но постоянно подчеркивает их эмоциональное воздействие на подданных.

Об указе Екатерины II 1762 г. о лихоимстве Карамзин пишет: «какое хладное сердце может быть нечувствительно к Ее красноречивому, убедительному, трогательному Указу» (40). А вот как характеризует Карамзин язык «Наказа», называя его «достопамятным и священным творением»: «никогда еще Монархи не говорили с подданными таким пленительным, трогательным языком» (48). Далее он цитирует Екатерину II: «законы /.../ должны быть столь изящны, столь ясны, чтобы всякой мог почувствовать их необходимость для всех граждан /.../» (52). Россия «обожает ее уставы» (37). Таким образом, законы одновременно являются и величественными («священное творение»), и прекрасными («пленительны»), а их воздействие приравнивается воздействию художественного произведения: они не только рациональны и понятны, но и «трогают» сердца. Следует отметить, что образ подданных конструируется по аналогии с чувствительным читателем, который одинаково способен воспринимать и красоты литературного произведения, и красоту законов. Чувствительные подданные противопоставляются «хладным сердцам», неспособным чувствовать красоту. Здесь напрашивается аналогия «хладных сердец» с «хладными душами» при республиканском правлении, которым достаточно жить по законам природы и которым, по мнению Карамзина, идеально подходят «дикие и неприступные места» (50).

---

<sup>137</sup> Wood N., "The Aesthetic Dimension of Burke's Political Thought", p. 187.

<sup>138</sup> Ibid., p. 188.

Хорошо известно, что одной из главных целей восхваления «Наказа» в «Похвальном слове» для Карамзина было обоснование необходимости самодержавия в России. Однако здесь более интересным для нас представляется выявление связи между идеями самодержавия и сентиментализма в контексте конструирования национального характера. Как писал Виктор Живов, Карамзин, пытаясь определить особенности русского национального характера, одной из важнейших его составляющих считал любовь к самодержавию. Он предлагал рассматривать Карамзина как одного из первых русских националистов-сентименталистов («националист» – в смысле попытки определения сути характера народа и легитимации власти). Сцепкой между национализмом и сентиментализмом, по мнению Живова, была концепция Руссо, в соответствии с которой нация определяется как «личность», обладающая единой волей, которую можно описывать в тех же терминах, что и личность человека. При этом основным элементом идентификации с ней (нацией) является чувство, а не разум<sup>139</sup>.

«Похвальное слово» может послужить примером того, каким образом любовь к самодержавию как часть характера народа связана с сентиментализмом. Она является отличительным качеством именно «чувствительных» подданных, одним из которых, разумеется, является сам Карамзин. На определение Екатериной II сути самодержавия: «не отнять естественную свободу, но чтобы действия /.../ направить к величайшему благу», – Карамзин говорит: «Сия утешительная истина в устах Монарших пленяет сердце» (51). Именно чувствительные сердца способны воспринимать или «трогаться» красотой законов и идеей самодержавия, порядок и покой которого противопоставляются республиканскому «хаосу безначалия» и, соответственно, «хладным сердцам». Чувствительный читатель и чувствительный гражданин, таким образом, умеют ценить и «приятное разнообразие» природы, и «гармоничность» и соразмерность частей империи, и красоту и порядок

---

<sup>139</sup> Живов В., «Чувствительный национализм...», с. 118-119.

ее законов. Создавая образ чувствительного читателя, Карамзин создает и образ чувствительного подданного. Не случайно Екатерина II была названа Карамзиным «искусным художником», а ее «Наказом» он восхищался как произведением искусства.

Текст «Похвального слова» показывает, что красота и величественность законов также должны служить регулятором общественных эмоций и направлять их в полезное русло. Различные законы и уставы, воспринимаемые как своего рода творение искусства (мудрость мысли, гений создателя и изящность слога), вызывают у подданных патриотические чувства и усиливают их любовь к отечеству: Екатерина II «Своим Уставом влияла в легионы наши дух чести и благородства», желая «чтобы [воин] знал важность сана своего в Империи, и, любя его, любил отечество» (46); «мудрое Наставление Губернаторам» должно способствовать распространению «духа ревности во всех частях Империи» (42). Карамзин цитирует «Наказ» для того, чтобы подчеркнуть различие между идеей подчинения, основанного на уважении и чувствительности, которые вызывает самодержавное правление, и принципом «личного равенства», когда «государственные правила называются жестокостью, уставы принуждением, уважение страхом» (67). Таким образом, в подчинении законам и Екатерине II он акцентирует не только действие возвышенного (спасительный страх), но и прекрасного (любовь). А эмоциональное сообщество конструируется из «чувствительных» подданных, способных реагировать на красоту и величественность законов, в чей характер «вписывается» любовь к самодержавию.

Вуд пишет, что хотя Берк прямым образом не связывал возвышенное с историческим процессом, однако такую связь можно усмотреть в его работах: «длинная последовательность наследственных монархов» и институтов, сохранившихся с незапамятных времен, или «вековое существование конкретной формы правления» представляет собой пример «искусственной бесконечности», которая, вызывая

уважение и благоговение у подданных, является источником возвышенного<sup>140</sup>. Восприятие самодержавия как возвышенной, специфично русской традиции правления, благодаря которой Россия стала могущественным государством, очень характерно для Карамзина в «Истории государства Российского». В «Похвальном слове» Карамзин «пленяется» высказанной Екатериной II идеей о том, что самодержавие «необходимо для неизмеримой Империи» (48), а «Наказ», в котором эта идея ярко выражается, он называет «достопамятным и священным творением» (48). Институт самодержавия Карамзин воспринимает как источник возвышенного, поскольку только с его помощью возможно управление «неизмеримой Империей» – предприятие, по своей грандиозности сравнимое с «Творческой волей, управляющей вселенной» (48).

Поэтому монарх в «Похвальном слове» концептуализируется как «божество», деятельность которого во многом непонятна и загадочна. В своей попытке «обнять целое» (45) он является орудием «таинственного Рока» или провидения (6). О том, что Карамзин считал монархов главным двигателем исторического процесса и о провиденциальности и телеологичности истории в его исторической концепции, уже писалось<sup>141</sup>. Однако при этом не отмечалось, что источником возвышенного у него является история, в течение которой таинственным образом устанавливается определенный вековой порядок (в данном случае самодержавный), который следует почитать и уважать (частью патриотического воспитания, с точки зрения Карамзина, является воспитание любви к «учреждениям»). Отсюда – неприятие им революции как «быстрых перемен»<sup>142</sup>, разрушающих возвышенное и прекрасное

---

<sup>140</sup> Wood N., "The Aesthetic Dimension of Burke's Political Thought", p. 60.

<sup>141</sup> Например, см.: Black J.L., *Nicholas Karamzin and Russian Society in the nineteenth century...*; McGrew R.E., "Notes on the Princely Role in Karamzin's 'Istorija Gosudarstva Rossijskago'", *The American Slavic and East European Review*, vol. 18, № 1, (Feb. 1959), p. 12-24.

<sup>142</sup> См.: Лотман Ю.М., «Политическое мышление Радищева и Карамзина и опыт Французской революции», в: *Карамзин*, с. 608.

общественное устройство (такое, каким оно представлено в «Похвальном слове»).

Карамзин пишет: «Зерцало веков, История, представляет нам чудесную игру таинственного Рока: зрелище многообразное, величественное!» (6). В ней больше всего его «пленяет» «явление великих душ, полубогов человечества», которые «составляют цепь в необозримости веков, подают руку один другому, и жизнь их есть История народов» (7). Частью такой цепочки являются Петр I и Екатерина II, которые друг другу «на величественном театре их действий подают руку!» (7), составляя «в последствии своем удивительную гармонию для счастья народа Российского!» (8). Их возвышенность подчеркивается еще и тем, что они воспринимаются по аналогии с римской историей и римскими героями, будучи при этом, однако, «*нашими*» (курсив Карамзина) (7).

Следует отметить, что исторически обусловленное и освященное самодержавие, являясь источником возвышенного в восприятии Карамзина, обеспечивает мир, покой и порядок в стране и «способы человеку в каждом гражданском отношении находить то счастье, для которого Всевышний сотворил людей» (58). «Устроение» Екатериной II счастья своих подданных, выражающееся в сохранении и поддержании самодержавного порядка, есть одно из проявлений ее «чудесной силы», которую Карамзин называет «духом порядка» (127). Установившийся в *прошлом* самодержавный порядок способствует сохранению *покоя* в *настоящем* (вспомним важность топоса покоя в одах и то, что весьма важной характеристикой правления Александра I и Павла I также является покой). *Покой* выражается через такие определения, как «счастливая пристань», «тишина», «мирные наслаждения» (72) и семантически противопоставлен «философскому беспокойству», постоянным сомнениям, пока разум после «заблуждений» и увлечения «дерзкими системами» не «находит для себя счастливую пристань, где *тишина* и *мирные* наслаждения ожидают его» (72). Таким

образом, самодержавный порядок, наделяемый возвышенностью, обеспечивает *покой*, способствующий проявлению прекрасного (счастье, наслаждение в гражданском обществе). Кроме того, любовь к самодержавию, интериоризируемая в сердцах чувствительных подданных – поскольку «чувствительным сердцам», в отличие от «хладных», присуща любовь к самодержавию, монарху и порядку – обеспечивает гармоничное функционирование эмоционального сообщества.

В заключение этой части отметим следующее. В «Похвальном слове», как было показано, описывается модель эмоционального сообщества, в котором гармонично сочетаются прекрасное и возвышенное. Его стабильность обеспечивается подчинением законам, установленным монархом, и взаимной любовью, представляющей собой своего рода «эмоциональный» Эдем, соответствующий образу империи как райского сада, который, однако, «цветет» на фоне бурных исторических изменений. Главным историческим событием того времени была Французская революция. Вильям Редди пишет, что Французская революция «... началась как попытка трансформировать Францию с помощью доброжелательных реформ в своего рода эмоциональное убежище», которое явилось бы оппозицией жестким нормам эмоционального режима королевского двора<sup>143</sup>. Барбара Розенвейн, суммируя его идеи, говорит, что изначально «эмоциональным убежищем» по отношению к официальной культуре двора были салоны, театры и литература сентиментализма, в которых провозглашалась свобода чувства и эмоционального самовыражения. Затем во время Якобинской диктатуры той же сентименталистской риторикой, требующей «настоящих» или «искренних» чувств», стал обосновываться террор. Режим революции сменил режим двора<sup>144</sup>. При

---

<sup>143</sup> Reddy M.W., *The Navigation of Feeling...*, p. 207.

<sup>144</sup> Rosenwein B., *Emotional communities...*, p. 19-20.

этом, по мнению Редди, этому историческому изменению сопутствовало эмоциональное страдание.

У Карамзина же мы видим совсем иную картину. В «Похвальном слове» «эмоциональный режим» Екатерины II основывается на любви и искренности, и в нем отсутствуют «принуждение» и «жесткие нормы». «Вечерние собрания» Екатерины II в окружении «достоинейших людей» ее двора представляют собой аналог «эмоционального убежища», о котором говорит Редди. В эти собрания «принуждение входить не дерзало», «царствовала свобода в разговорах», «всякий мог заниматься удовольствиями общества», «царила дружественная искренность», «искренняя веселость и невинные игры» (125). Если в период якобинского террора требовалось, чтобы политика основывалась на «настоящем чувстве»<sup>145</sup>, и это использовалось для его оправдания, то в России искренние чувства «оправдывают» самодержавие и законы.

Законы Екатерины II также исходят из сердца (Карамзин называет их «законами любви» (51)). Частое акцентирование образа государства как огромной семьи, состоящей из многих семей-народов, снимает проблему «жесткого эмоционального режима» и является аллюзией на непосредственные свободные отношения, представляющие собой выражение прекрасного. «Семейные отношения» переносятся на непосредственное окружение Екатерины II<sup>146</sup>, а любовь, чувствительность, мораль становятся залогом стабильности общества. События же Французской революции в этом контексте, с точки зрения Карамзина, представляют собой отрицание чувствительности, просвещения и морали. Таким образом, в «Похвальном слове» отсутствует проблема «побега» из императорского двора в

---

Редди определяет «эмоциональный режим» следующим образом: это «набор нормативных эмоций и официальных ритуалов, практик; /.../ обязательная основа любого стабильного политического режима» (Reddy M.W., *Op. cit.*, p. 129).

<sup>145</sup> *Ibid.*, p. 19.

<sup>146</sup> О взглядах Карамзина на семью и соотношение частного и публичного пространства см.: Kahn A., “Nikolai Karamzin’s Discourses of Enlightenment“, p. 496-501.

«эмоциональное убежище». Наоборот, сообщество в целом, воображаемое в образе большой семьи и охватывающее собой всю Россию, конструируется как «убежище» от слишком стремительных исторических изменений. При этом любовь является главной эмоцией в конструировании эмоционального сообщества.

### **Выводы**

И в одах, и в «Похвальном слове» противопоставление «своего» и «чужого» *пространства* нерелевантно. Особое значение для воображения нации в них имеет пространство империи. Если в одах оно описывается схематично и акцент делается на артикуляции его красоты (образ сада), а не его возвышенности, то в «Похвальном слове» его возвышенность представлена явным образом (величина, невообразимость, гетерогенность пространства). Тем не менее, и в «Похвальном слове» в итоге на первый план выступает прекрасное («одомашнивание» пространства).

В одах артикулируется настоящее *время*, устремленное в будущее. Главной его характеристикой являются *покой* и *мир*, которые позволяют проявляться *прекрасному* в нации как эмоциональном сообществе. В «Похвальном слове» время обладает теми же характеристиками, но наделяется и исторической перспективой. Историческое прошлое России в восприятии Карамзина становится источником *возвышенного* – и, «освящая» самодержавие, делает его возвышенным. Его возвышенность и величие вызывает любовь подданных, способствуя (как и покой) эмоциональной сцепке сообщества.

Главной *эмоцией*, объединяющей в одно эмоциональное сообщество монарха и подданных в Российской империи, является *любовь*. При этом национальные различия между подданными значения не имеют – они объединяются в одно «инклюзивное» сообщество, коррелирующее с пространством всей империи. Можно сделать вывод,

что такое сообщество, описываемое в терминах категории прекрасного (акцентируются «социальные» эмоции) является *утопическим*. Наиболее яркий пример такого сообщества представлен в «Похвальном слове». Однако «реальные» отношения между странами не являются утопическими: так, «негативные» эмоции (страх, ужас и гнев) конструируют аффективную границу между ними (в «Похвальном слове»), в целом вписываясь в парадигму возвышенного (принцип власти).

Если в одах Карамзина проявляется упадок традиции имперского возвышенного, то в «Похвальном слове» она частично возрождается, выражаясь в большем риторическом подчинении, восторге перед монархом, а также более широко представленной имперской панораме.

## II. ПОЭТИКА НАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ СТАТЬЯХ

В данной части будут анализироваться политические статьи Карамзина, опубликованные в журнале «Вестник Европы» (1802 – 1803 г.). Отличительной чертой этого издания является наличие в нем политического раздела, в котором Карамзин выступает как «политический публицист»<sup>1</sup>. География и тематика публикаций в этом журнале весьма обширна<sup>2</sup> и отнюдь не ограничивается собственно европейской проблематикой. Следует отметить, что хотя в этих статьях доля материалов, напрямую касающихся России, относительно невелика, они важны в контексте анализа специфики поэтики нации.

В ходе анализа будут последовательно рассмотрены значения конститутивных элементов поэтики нации – *пространства, времени и эмоций* – и показано, как они характеризуются посредством категорий возвышенного и прекрасного. Также там, где это релевантно, будет проанализировано значение этих элементов в контексте имперской проблематики.

### Пространство

Для выявления значений пространства в поэтике нации в политических статьях важно проанализировать специфику «своего» пространства по отношению к «чужому». В «своем» же пространстве

---

<sup>1</sup> Cross A.G., *N.M. Karamzin: a Study of His Literary Career 1783-1803*, p. 194.

<sup>2</sup> Например, в «Вестнике Европы» часто публиковались переводные материалы, в которых содержалась разного рода информация об удаленных уголках мира и путешествиях: «Остров Святой Елены. Письмо Английского путешественника к другу его» (*Вестник Европы*, 1802, № 2, с. 38-43); «Бонапарте в пирамиде» (*Вестник Европы*, 1802, № 2, с. 44-51); «Смерть Шелехова. Мыс С. Или – Афогнаки стекают на морской берег, с которого видны Русские суда, бегущие на парусах» (*Вестник Европы*, 1802, № 3, с. 52-61); «Путешествие Российского капитана Биллинга» (*Вестник Европы*, 1802, № 7, 240-242); «Новейшая история и статистические достопамятности Китая» (*Вестник Европы*, 1802, № 8, с. 379-383); «Взятие Серингапатама и смерть славного Типпо-Сампа, описанного очевидцем, английским майором Аланом» (1802, № 18, с. 140-146); «Описание царства англичан на берегу Гангеса» (*Вестник Европы*, 1803, № 4, с. 299-305); «Письмо одного англичанина из Квебека» (*Вестник Европы*, 1803, № 16, с. 272-276); «Известие об островах Канарских, или счастливых, взятое из книги гражданина Бори о Новой Атлантиде» (*Вестник Европы*, 1803, № 19, с. 179-190).

важна функция пейзажа, своеобразие которого раскрывается в сравнении с «чужой» природой.

Одной из самых существенных особенностей пространства в различных публикациях из «Вестника Европы» является противопоставление России, Европы и Азии по признаку распространенности в них просвещения. При этом пространство характеризуется посредством смысловой оппозиции – **просвещение/дикость**.

В «Письме к издателю» (1802), программной статье, которой открывается «Вестник Европы», «друг» издателя приветствует его начинание «издавать журнал для России»<sup>3</sup>. Европа в тексте представлена как пространство развитой культуры, выражающейся в любви к литературе: «уже все монархи в Европе считают за долг и славу быть покровителями учения»; а «если вкус к литературе может быть назван модою, то она теперь общая и главная в Европе»<sup>4</sup>. Россия включается в просвещенное пространство, так как и в ней «охота к чтению распространяется и /.../ люди узнали эту новую потребность души, прежде неизвестную»<sup>5</sup>. По сравнению с просвещенной Европой Россия характеризуется тем, что в ней просвещение еще только распространяется. Это подчеркивается пространственной локализацией повествователя: он «живет на границе Азии, за степями отдаленными, и почти всякий месяц угощает у себя новых рапсофов, которые ездят по свету с драгоценностями русской литературы и продают множество книг нашим сельским дворянам»<sup>6</sup>. Месторасположение «за степями отдаленными» и близость к Азии означает удаленность от культурного центра в сторону все более «диких» пространств. «Граница Азии» оказывается как бы точкой перехода между диким и просвещенным пространством. Таким образом, просвещение, распространению которого

---

<sup>3</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 1, с. 3.

<sup>4</sup> Там же, с. 4.

<sup>5</sup> Там же, с. 5.

<sup>6</sup> Там же.

способствует повествователь, перемещается вдоль оси Европа – Россия – «прилегающие» к азиатскому пространству российские окраины.

В других статьях Россия также принадлежит просвещенному пространству. В статье «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени» (1802) повествователь пишет: «патриот с радостью видит, как свет ума более и более стесняет темную область невежества в России»<sup>7</sup>. В «О новом образовании народного просвещения в России» (1803) Александр I «говорит еще: да будет свет в хижинах!»<sup>8</sup>. Повествователь противопоставляет распространение просвещения в России «злословию многих чужестранных писателей, представляющих нас эгоистами и варварами»<sup>9</sup>. В «Об известности литературы нашей в чужих землях» (1803) повествователь отмечает, что «ныне пишут о новых успехах просвещения и литературы в России», и что «нашим авторам должно быть приятно, что /.../ они получают таким образом право гражданства в Европейской Республике Литераторов»<sup>10</sup>

Азия, в свою очередь, является пространством, подлежащим просвещению: «фанатизм и невежество» характеризуют «обширные пространства Азии»<sup>11</sup>, – пишет Карамзин в «Известиях и замечаниях» (1802) об Османской империи, которая также, по его мнению, «явно отжила свой век»<sup>12</sup>. С его точки зрения, если «предсказания некоторых политиков исполнятся» и она падет, то «начнется новая эпоха в свете /.../ благодетельная для разума и человечества; тогда откроется просвещению Европы верный и легкий путь в Азию»<sup>13</sup>. И в качестве цивилизатора для менее «просвещенных» азиатских мест будет выступать уже не только Европа, но и Россия. Таким образом, по признаку просвещенности Россия явно включается в европейское пространство и противопоставляется «чужому» – Азии.

---

<sup>7</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 12, с. 320.

<sup>8</sup> *Вестник Европы*, 1803, № 5, с. 49.

<sup>9</sup> Там же, с. 55.

<sup>10</sup> *Вестник Европы*, 1803, № 15, с. 195.

<sup>11</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1803, № 9, с. 68-69.

<sup>12</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 14, с. 159

<sup>13</sup> Там же.

Оппозиция просвещение/ дикость с некоторыми дополнительными нюансами остается релевантной и в контексте соотношения значений *российского* и *мирового пространства*, что ярче всего демонстрирует статья Карамзина «О Российском посольстве в Японию» (1803). В ней описывается предстоящее путешествие российских мореплавателей в Японию, целью которого было установление дипломатических и торговых отношений с этой страной. В то же время оно также должно было стать составной частью первой российской кругосветной морской экспедиции, перед которой ставилась задача обоснования возможности доставки товаров из России в российские владения в Америке морским путем, а не сухопутным, через Сибирь<sup>14</sup>. С точки зрения повествователя, эта экспедиция важна и для Европы, так как «касается и до наук, до блага человечества и распространения выгод гражданственности между народами дикими»<sup>15</sup>.

Дополнительное значение оппозиции просвещения/ дикости заключается в том, что в статье проявляется «*ориентализирующий*» взгляд повествователя относительно японцев, выражающийся в конструировании культурной дистанции между народами. Он удивляется несоответствию между высоким уровнем развития японского искусства, достигшего «неизвестной /.../ степени совершенства», и их «невежества» и отмечает, что там «разум человека еще в колыбели»<sup>16</sup>. Япония характеризуется как «жертва деспотизма и суеверия», однако японцы «при всей их грубости, не такие злые и коварные обманщики в торговле, как наши соседи китайцы»<sup>17</sup>. Образ «Другого» как «невежественного» и «неразвитого» дает повод для его «окультуривания», а Россия в этом процессе может выступить в роли просвещенного «цивилизатора».

---

<sup>14</sup> Болховитинов Н.Н., *История Русской Америки: Деятельность Российско-американской компании, 1799-1825*, том 2, Москва: Международные отношения, 1999, с. 87. Также эта экспедиция должна была способствовать укреплению позиции русских в Северной Америке (Там же, с. 87).

<sup>15</sup> *Вестник Европы*, 1803, № 11, с. 159.

<sup>16</sup> Там же, с. 162.

<sup>17</sup> Там же.

Американское пространство («новые американские острова», которые Г.И. Шелихов – мореплаватель, купец, основатель «Северо-восточной компании», основатель поселений на Алеутских островах и Аляске – «присоединил к Российским владениям»<sup>18</sup>) также определяется как «дикое». Распространение культуры из имперского центра в «дикие» пространства характеризуется метафорой «засеивания», которое будет реализовываться с помощью «книг, картин, эстампов, бюстов», поставляемых Санкт-Петербургскими академиями. Метафора культурного «засеивания» дикой почвы актуализирует типичную просвещенческую риторику. Цель зятя Шелихова, Н.П. Резанова (одного из основателей Российско-американской компании), заключается в том, чтобы «навек утвердить» начинания своего тестя – то есть «образовать страны новые» (на месте «диких»), «посеять в них художества с науками»<sup>19</sup>.

Освоение диких пространств метафорически связано с возглашением имени императора. Так, повествователь пишет, что Шелихов «первый возгласил имя Великой Екатерины народам диким»<sup>20</sup>. Возглашение ее имени и его увековечивание «величественным образом» шло параллельно с работой русских христианских миссионеров, а имперская власть транслировалась через просвещение и христианизацию «диких», или, как они названы в тексте, «полудиких» народов<sup>21</sup>. Если в карамзинском «Похвальном слове» Екатерина II приглашает иностранцев для «окультуривания» «диких» пространств России с помощью «секиры» и «плуга»<sup>22</sup>, то здесь эту роль по отношению к «дикой» Америке выполняют русские колонизаторы<sup>23</sup>.

---

<sup>18</sup> Там же, с. 164.

<sup>19</sup> Там же.

<sup>20</sup> Там же.

<sup>21</sup> Там же.

<sup>22</sup> Карамзин Н., «Историческое похвальное слово Екатерине II», с. 43.

<sup>23</sup> В реальности все было далеко не безоблачным – как пишет Болховитинов, «на начальном этапе колонизации Аляски русские купцы и промышленники вели себя по отношению к аборигенам немногим лучше, чем представители других европейских народов» (см.: Болховитинов Н.Н., *Указ. соч.*, том 1, с. 10).

Можно сказать, что в данной статье «взгляд» повествователя метонимически отождествляется с имперским государством и его просвещенческой программой. Если в «Письмах русского путешественника» взгляд повествователя/ путешественника постоянно устремляется из настоящего в прошлое различных европейских культур, то в статье «О Российском посольстве в Японию» его взгляд направлен из настоящего в будущее. В ней красочно описывается то, что еще только предстоит увидеть участникам российской экспедиции. И если в «Письмах» путешественник совершал своего рода литературное путешествие по Европе, воспринимая увиденное не столько как таковое, сколько через призму или «взгляд» европейской литературы<sup>24</sup>, то в данном случае он мысленно путешествует по местам, которые уже, так или иначе, «освоены» европейскими империями – они раньше «открылись их взгляду».

Российские путешественники увидят следующие колониальные владения европейцев: Бразилию, важную своим богатством – реками, которые «выбрасывают на берег золото и камни драгоценные»<sup>25</sup>; «землю Магелланскую» с ее экзотичными жителями (английские путешественники, «возобновляя старые сказки Гишпанцев», описывают их не в нейтральных терминах, а как «ужасных Гигантов»)<sup>26</sup>; Яву, Суматру и Индийский полуостров с древними храмами, «монументами суеверия грубого, но почтенного веками», многочисленными народами, находящимися в «подданстве купцов Европейских»<sup>27</sup>. При этом повествователь осуждает то, что европейцы, которые «по следам Колумба злодействовали в Новом Свете»<sup>28</sup>, правят колониями «по одному закону хитрого корыстолюбия»<sup>29</sup>. Им противопоставляются русские: «молодые, благородные Россияне», «друзья человечества», «не хищники», «не

---

<sup>24</sup> Лотман Ю.М., Успенский Б.А., ««Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры», с. 487.

<sup>25</sup> Карамзин Н., «О Российском посольстве в Японию», с. 161.

<sup>26</sup> Там же, с. 161.

<sup>27</sup> Там же, с. 165.

<sup>28</sup> Там же, с. 166.

<sup>29</sup> Там же, с. 165.

тираны»<sup>30</sup>. Данное противопоставление важно, так как позволяет в образе русских акцентировать гуманность как выражение «настоящего» просвещения, в противоположность европейской «корысти», что особенно подчеркивается семой жертвенности: они «добровольно оставляют пышную столицу и вверяют себя волнам на несколько лет»<sup>31</sup>.

Мысленно следуя за будущими путешественниками, повествователь совершает воображаемое путешествие, которое начинается из имперского центра (Петербурга) и там же должно и закончиться: таким образом, «в первый раз флаг России *окружит* [курсив Карамзина] шар земной, и в странах, где едва имя ее известно, услышат язык нашего отечества /.../»<sup>32</sup>. Флаг становится знаком символического освоения территорий, которое происходит в воображении повествователя и связано с удовольствием: «мы искренно завидуем их [путешественников] доле, воображая бесчисленные удовольствия, которые ожидают их в неизмеримостях Океана»<sup>33</sup>. В пространстве воображаемого повествователь сам как бы становится первооткрывателем нового морского пути для России.

Переход через океан имеет особое значение в поэтике пространства. Например, как пишет Джойс Чаплин, «пересечение Атлантического океана было исключительной частью европейской или даже имперской истории»<sup>34</sup>. Сам океан (Атлантический и Тихий), как далее говорит исследовательница, «содержал много возможностей, будучи пространством силы, или свободы, или восторга, или прибыли, или возвышенного, или рутины»<sup>35</sup>. Предстоящее кругосветное путешествие даст возможность России «освоить» океанское пространство, что поставит ее в один ряд с другими морскими

---

<sup>30</sup> Там же.

<sup>31</sup> Там же.

<sup>32</sup> Там же.

<sup>33</sup> Там же, с. 167.

<sup>34</sup> Chaplin J.E., "The Atlantic Ocean and Its Contemporary Meanings, 1492-1808", in: *Atlantic History: a Critical Appraisal*, J.P. Greene and P.D. Morgan (eds.), Oxford, NY: Oxford University Press, 2009, p. 39.

<sup>35</sup> *Ibid.*, p. 49.

империями. Оно концептуализируется с помощью метафоры своеобразного победного шествия, в котором российскими путешественниками преодолеваются «блестящие опасности».

Карамзин сравнивает их с аргонавтами: «Пусть ветры благополучные несут наших аргонавтов по обширному океану! Мы будем следовать за ними взорами и сердцами»<sup>36</sup>, – используя распространенную в 1760-1770 годы «аргонавтическую» парадигматику. Вера Проскурина показала, что миф об аргонавтах и их походе за золотым руном в русской рецепции был тесно связан с «поэтической символизацией колониальных (и морских!) притязаний власти»<sup>37</sup>. Ее мысль подтверждается высказыванием карамзинского повествователя: «нам осталось доказать, что можем господствовать на сем элементе [море] и народною, торговую, умною предприимчивостью!»<sup>38</sup>. Таким образом, путешествие представляется как продолжение дела Петра I, создавшего российский флот в целях безопасности и развития торговли<sup>39</sup>. Если, как пишет Рам, упоминания в русских одах о далеких реках, морях и границах «служили не столько указанием на пространственные границы России, сколько на ее потенциально безграничное могущество»<sup>40</sup>, то в анализируемой статье флаг также указывает на потенциал к возможному расширению имперского пространства<sup>41</sup>.

---

<sup>36</sup> Карамзин Н., «О Российском посольстве в Японию», с. 170.

<sup>37</sup> Проскурина В., *Мифы империи: литература и власть в эпоху Екатерины II*, с. 179, 180.

<sup>38</sup> Карамзин Н., «О Российском посольстве в Японию», с. 171.

<sup>39</sup> Там же, с. 168.

На то, что путешествие является метафорическим продолжением начинаний Петра I, указывает еще и следующий момент. Сам Петр I был заинтересован в открытии новых земель (Болховитинов Н.Н., *Указ. соч.*, том 1, с. 53), и уже ему было предложено совершить кругосветное плавание. Затем такие попытки периодически возобновлялись, однако этого не удавалось сделать вплоть до 19 века (Болховитинов Н.Н., *Указ. соч.*, том 2, с. 85). Если продвижение на «восток» и Российско-американская компания сначала были в основном частным предприятием отдельных людей, «стихийным процессом», то потом они все больше становились «делом» государства (Болховитинов Н.Н., *Указ. соч.*, том 1, с. 362). Поэтому можно сделать вывод, что «взгляд» путешественников и повествователя метонимически репрезентирует вектор намерений власти от Петра I – до Александра I.

<sup>40</sup> Narsha R., *The Imperial Sublime*, p. 33.

<sup>41</sup> Флаг является важным символом «освоения» земли, поскольку открытие земель и их закрепление за государством сопровождалось установлением флага. Например, когда планировалось кругосветное путешествие в 1786 г., Екатерина II пишет в своем указе, что Г.И. Муловский, предполагаемый командир путешествия, на открытых землях, «которые еще никакой европейской державе не покорены», уполномочивается «торжественно поднять

Распространение «выгод гражданственности между народами дикими» в Америке связано также с образом путешественников как «легкого передового войска», обозревающего моря, «где скоро должна появиться армия»<sup>42</sup>. В тексте возникает противоречие между образом «армии», ориентализацией востока («диких») и подчеркиванием миролюбивого характера путешествия (русские – «не тираны», «друзья человечества»).

Здесь представляется уместным мнение Рама, который отмечал, что уже в одах Ломоносова присутствует ориенталистская риторика – противопоставление Запада (России) и Азии (Востока и Юга). С его точки зрения, их (оды) можно считать началом «ориенталистской идеологии» в России<sup>43</sup>. Соглашаясь с мнением Марка Бассина, согласно которому «европеизации» образа России соответствовало подчеркивание азиатского характера владений России на востоке<sup>44</sup>, он пишет: «чтобы развиваться как западная держава, Россия должна была искать свою судьбу на востоке»<sup>45</sup>. Это устремление выражается в одах Ломоносова, в которых интересы Российской империи направлены именно в сторону востока<sup>46</sup>. В рассматриваемой статье Карамзина они также устремлены в этом направлении<sup>47</sup>. Чтобы внутри страны сохранялись мир и покой (покой – очень важное понятие для Карамзина), она должна обладать

---

Российский флаг во всей урядности» (Указ Екатерины II Адмиралтейств-коллегии, 28 октября 1787 г.// РГА ВМФ. – Ф. 227. – Оп. 1. – Д.50. – Л.46. Цит. по: Болховитинов Н.Н., *Указ соч.*, том 2, с. 86).

Или, например, Христофор Колумб пишет в «Письме к Сантахелю и Санчесу» (1493, 15 февраля) об открытии островов: «И все эти острова я принял во владение их высочеств с публичным провозглашением и под развернутым королевским стягом, и при этом не было мне оказано сопротивления» (*Путешествия Христофора Колумба: дневники, письма, документы*, перевод с исп. Я.М. Света, Москва: Государственное издательство географической литературы, 1961, с. 66).

<sup>42</sup> Карамзин Н., «О Российском посольстве в Японию», с. 170.

<sup>43</sup> Ram H., *The Imperial Sublime...*, p. 77.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Ibid., p. 73.

<sup>47</sup> В XVIII в. Тихий океан в некоторых российских источниках назывался «Восточным морем» (см.: Макарова Р.В., *Русские на Тихом океане во второй половине XVIII в.*, Москва: «Наука», Главная редакция восточной литературы, 1968, с. 7).

торговым и военным могуществом (чтобы «английский фрегат [не] пришел бы иногда бомбардировать Ревель»<sup>48</sup>).

Таким образом, в данной статье «ориентализирующий» взгляд повествователя проявляется в конструировании образа России как *просвещенной* страны по сравнению с «диким» востоком и с некоторыми оговорками<sup>49</sup> может рассматриваться как часть европейского ориенталистского дискурса. Кроме того, имперское пространство России маркируется его потенциалом к прямому и метафорическому расширению, на что указывает образ аргонатов и флага.

Важной характеристикой пространства в некоторых публикациях журнала является его **стабильность/ нестабильность**. Политическое пространство Европы периода революционных войн нестабильно и характеризуется изменчивостью. Во «Всеобщем обозрении» (1802) Карамзин пишет: «целые области совсем исчезли. Где Польша? Где Венеция? Где многие княжества в Германии и в Италии? /.../ Новые области явились Европе: здесь воскресло древнее имя и царство Этрурии; тут Ломбардия превратилась в Чизальпинскую республику /.../ границы государств переместились, и авторы географических карт должны снова начать свою работу»; «Как после жестокой бури взор наш с горестным любопытством примечает знаки опустошений ее»<sup>50</sup>. Пространство Оттоманской империи связано с разрушением, хаосом и анархией, Франция возвращается к границам своей исходной территории: она «вошла точно в старинные свои границы, то есть в границы древней Галлии»<sup>51</sup>. В противоположность европейскому, российское пространство определяется стабильностью и величием: «Когда другие державы

---

<sup>48</sup> Карамзин Н., «О Российском посольстве в Японию», с. 168. Ричард Пайпс подчеркивал, что центральным местом в политической доктрине Карамзина была тесная взаимосвязь между гражданской свободой и сильной политической или государственной властью (см.: Pipes R., "Karamzin's Conception of the Monarchy", in: *Essays on Karamzin, Russian man-of letters, political thinker, historian, 1766-1826*, J.L. Black (ed.), The Hague: Mouton, 1975, p. 108).

<sup>49</sup> Карамзин подчеркивал мирный характер экспедиции и противопоставлял ее «корыстолюбию» европейских купцов и «хищным» последователям Колумба (см.: Карамзин Н., «О Российском посольстве в Японию», с. 165-166).

<sup>50</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 1, с. 67.

<sup>51</sup> Там же, с. 68.

трепетали на своем основании, Россия возвышалась спокойно и величественно. Довольная своим пространством, естественными сокровищами и миллионами жителей /.../»<sup>52</sup> («Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени», 1802). Величие России оказывается тесно связанным с пространственным измерением. Комментируя книгу неизвестного автора «О силе Франции и России», вышедшую в Германии на английском языке, Карамзин приводит из нее отрывок, где отмечается связь «величия» России и «непреступности» ее границ, так что «армии целой Европы не дерзнут войти в ее пределы»<sup>53</sup>. «Величие» России, коррелирующее с удовольствием от «устойчивости» пространства и противопоставленное «трепетанию» и изменчивости границ европейских государств, подчеркивает ее силу в политическом мире.

### **Роль пейзажа в «воображении» нации**

Проанализировав специфику значений пространства России по отношению к пространству Европы, Азии и «мира», рассмотрим особенности пейзажа в «своем» пространстве, а также его роль в конструировании нации как воображаемого сообщества. К анализу специфики живописного пейзажа в карамзинских текстах Андреаса Шенле, рассмотренного в первой части настоящей работы, хотелось бы добавить еще несколько замечаний. Представляется, что специфика живописного пейзажа московских окрестностей раскрывается в журнальных публикациях («Записки старого московского жителя»<sup>54</sup>, «Путешествие вокруг Москвы»<sup>55</sup>) не только посредством аналогии с живописными местами в Швейцарии или в других европейских странах, как полагал Шенле<sup>56</sup>.

---

<sup>52</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 12, с. 320.

<sup>53</sup> «О силе Франции и России», *Вестник Европы*, 1803, № 15, с. 215.

<sup>54</sup> *Вестник Европы*, 1803, № 16, с. 276-287.

<sup>55</sup> *Вестник Европы*, 1803, № 4, с. 278-290.

<sup>56</sup> Schönle A., *The Ruler in the Garden...*, p. 232.

Описание Карамзиным московских окрестностей любопытным образом контрастирует с изображенными в «Записке о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» (1811) окрестностями Петербурга, а также с его описаниями экзотической природы дальних стран. Так, в описании окрестностей Петербурга можно выделить семы «недостачи» – город расположен среди «зыбей болотных, в местах, осужденных природою на бесплодие и недостаток» – и «безжизненности»: он построен на «слезах» и «трупях», а его окрестности вызывают «болезни» и «уныние»<sup>57</sup>. Они контрастируют с «прекрасными странами», которые иностранный путешественник проезжая по России, оставляет за собой, а также с «прекрасными плодородными равнинами» и «живописными» реками<sup>58</sup>.

Следует отметить парадоксальную параллель: природа Москвы и ее окрестностей контрастирует с природой окрестностей Петербурга так же, как Крым с Сибирью в «Похвальном слове». Построенный в «северном краю государства» Петербург попадает в категорию «чужого» пространства. Подобно тому, как Сибирь является «хладным гробом», Петербург требует «новых жертв преждевременной смерти»<sup>59</sup>. Как Сибирь характеризуется «хладностью», «безлюдностью», «печалью», так и Петербург – «унынием». Ни величественная природа Сибири, «хотя и хладная, но [тем не менее] привольная для жизни человеческой», ни унылая природа окрестностей Петербурга, в отличие от Москвы и ее окрестностей, не связываются у Карамзина с любовью к родине. Сибирь

---

<sup>57</sup> Карамзин Н., *Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях*, Москва: Наука, 1991, с. 38 (далее *Записка о древней и новой России*). В контексте анализа «петербургского» текста в русской литературе Топоров отмечал, что Карамзин был первый, кто «понял самостоятельную ценность города и выделил город как таковой в качестве независимого объекта переживаний» (Топоров В.Н., «Петербург и “петербургский текст русской литературы” (Введение в тему)», в: Топоров В.Н., *Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное*, Москва: «Прогресс»-«Культура», 1995, с. 333). С его точки зрения, акцентирование крайности и «невыгоды» географического положения города по отношению к России также было характерно и для «петербургского текста». Петербург противопоставляется Москве или как город «неуютный», «вымороченный», «официальный», «казенный», «бездушный», «нерусский», или как «цивилизованный», «гармоничный», «логично-правильный», «европейский» (Там же, с. 268).

<sup>58</sup> Карамзин Н., *Записка о древней и новой России*, с. 38.

<sup>59</sup> Там же.

важна как пространство, подлежащее окультуриванию (образ сада в одах; внутренняя колонизация; добыча полезных ископаемых; охота). А пространство, на котором был построен Петербург, отличается, в первую очередь, сопротивлением материала, которое должен был преодолеть Петр I в своем демиургическом предприятии. Карамзин называет Петербург «блестящей ошибкой» Петра I, так как «человек не одолеет природы»<sup>60</sup>.

Природа Москвы и ее окрестностей являет собой полную противоположность природе Петербурга и Сибири. Карамзина волнует проблема репрезентативности города и природы, то есть вопрос о том, какое место в Москве могло бы «дать выгодную идею о самих жителях»<sup>61</sup>. В рассуждениях о живописной природе Москвы и ее окрестностей особое значение он приписывает «гульбищу» как примеру такой организации пространства, которое способно дать эту «выгодную» идею. Наиболее подходящим местом для него ему представляется берег Москвы-реки и «древний Кремль с златоглавыми Соборами и готическим дворцом своим»<sup>62</sup> и открывающейся оттуда живописной панорамой. При этом для Карамзина важны не только красота места и исторические коннотации (Кремль – «наш палладиум»<sup>63</sup>). Наслаждение природой оказывается не только частным занятием, но и актуализацией принципа дружбы или социальности (являющегося выражением прекрасного по Берку)<sup>64</sup>, способствуя «счастливому сближению в духе, которое бывает следствием утонченного гражданского образования» людей, принадлежащих разным социальным слоям<sup>65</sup>. «Приятная свобода и смесь разных состояний»<sup>66</sup>, которая царила бы на гульбище, соответствуют

---

<sup>60</sup> Там же, с. 38.

<sup>61</sup> Карамзин Н., «Записки старого московского жителя», с. 284. Карамзин разделял идеи А.Т. Болотова о том, что «стиль» ландшафта должен отражать «главные черты нашего морального характера» (см.: Schönle A., *The Ruler in the Garden...*, p. 220).

<sup>62</sup> Карамзин Н., «Записки старого московского жителя», с. 285.

<sup>63</sup> Там же.

<sup>64</sup> Wood N., “The Aesthetic Dimension of Burke’s Political Thought”, p. 175.

<sup>65</sup> Карамзин Н., «Записки старого московского жителя», с. 283.

<sup>66</sup> Там же.

«приятности»<sup>67</sup> природы. Таким образом, московский живописный пейзаж актуализирует проявление прекрасного, что особенно ярко проявляется в сравнении с описанием петербургских окрестностей. Именно он, с точки зрения Карамзина, «дает выгодную идею» о русском народе. Хотя, как писал Кристофер Элай, Карамзин так и не «смог примирить свою пасторальную любовь к природе с отдельной любовью к стране»<sup>68</sup>, в этой статье Карамзин *пытается* это сделать. Символом родины/ страны здесь является «Москва белокаменная»<sup>69</sup>, а любовь к ней выражается и в любви к ее живописному пейзажу.

Если природа окрестностей Москвы характеризуется «приятностью», что связано с переживанием прекрасного (оно способствует установлению социальных контактов), и воспринимается по аналогии с живописной европейской природой («своей»), то «ужасы природы» маркируют «чужое» пространство. В «Известиях и замечаниях» Карамзин пишет о Московском землетрясении: «Поблагодарим судьбу, удалившую нас от средоточия Вулканов! Вообразим жителей островов Антильских, Филиппинских, Архипелага, Сицилии, Японы: там землетрясение почти столь же обыкновенно, как у нас сильная гроза летом; но они спокойно наслаждаются жизнью! Таковы люди: привычка делает их нечувствительными к самым ужасам Природы!»<sup>70</sup>. «Местные» жители «нечувствительны к ужасам», так как они «привычны» и являются частью «своего» пространства. «Ужасы природы» попадают в разряд той природы, которая вызывает у повествователя *не любовь, а любопытство*.

В статье «О Российском посольстве в Японию» природа, которую предстоит увидеть русским мореплавателям, являет собой смесь ужаса, красоты и экзотики. Например, Япония «богата красотами Природы и не менее любопытными ужасами»: там есть птицы, «чудесно убранные

---

<sup>67</sup> Там же, с. 284.

<sup>68</sup> Ely Ch., *This Meager Nature...*, p. 51.

<sup>69</sup> Карамзин Н., «Записки старого московского жителя», с. 279.

<sup>70</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 21, с. 71.

рукою Натуры», и «прекраснейшие насекомые»; с другой стороны, в стране «беспреданно свирепствуют восемь Вулканов, пламенная лава льется реками, и минеральные воды отменного свойства кипят в недрах земли, как на сильнейшем огне»<sup>71</sup>. Природа экзотических стран воспринимается повествователем как возвышенная, поражая воображение и одновременно «притягивая»: Япония *прелестна* для «северных наблюдателей»<sup>72</sup> (север – пространство монотонности). Стоит отметить, что не только у Карамзина, но и у других авторов в описаниях встречи с «чужой» природой подчеркивается ее возвышенность<sup>73</sup>. При этом возвышенное может восприниматься путешественниками с собственно эстетической стороны: например, И. Ф. Крузенштерн (руководитель первого российского кругосветного путешествия) при виде главной горы Тенерифе, отмечая ее «ужасность» и «величие», рассуждает о том, что из-за «прилежащих гор» «много уменьшается ими величие горы Пика; ибо если бы она стояла одна, то высота ее несравненно больше бы удивляла наблюдателя»<sup>74</sup>. Однако помимо эстетики в описании возвышенной природы может добавляться и «политический» элемент, что и демонстрирует анализируемая статья Карамзина.

С одной стороны, возвышенная экзотическая природа в «О Российском посольстве в Японию» подлежит научному «покорению»: ее «ужасы и красоты» «любопытны» с научной точки зрения и вызывают

---

<sup>71</sup> Карамзин Н., «О Российском посольстве в Японию», с. 163.

В этой же статье Филиппины также характеризуются смесью ужаса и красот: «/.../ Натура среди ужасов вулканических землетрясений рассыпает все богатства своего плодородия» (Там же, с. 164); там «подле яда родится и лекарство» (Там же, с. 165). В Бразилии природа представляется «баснословием, если бы за истину его не ручались имена Ученых» (Там же, с. 161).

<sup>72</sup> Там же.

<sup>73</sup> Ср.: Карамзин описывает, что увидят российские путешественники, приблизившись к Тенерифе: «Там русские ученые увидят высочайшую вулканическую гору в мире, которая, при восхождении солнца, огромною своею тенью закрывает и весь остров и море до самого горизонта, и которая, будучи на вершине покрыта вечным льдом /.../» (Там же, с. 160). Там происходили «великие революции мира» (Там же). А вот как пишет Лисянский, капитан корабля «Нева» и участник кругосветной экспедиции в 1803 г.: «Покрытая снегом вершина ее, быв освещена солнечными лучами, представляла прекраснейшее зрелище. Признаюсь, вид сего огромного исполина природы привел меня в восхищение и ужас» (Лисянский Ю.Ф., *Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 годах на корабле «Нева»*, Владивосток: «Дальневосточное книжное издательство», 1977, с. 30).

<sup>74</sup> Крузенштерн И.Ф., *Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежде» и «Неве»*, Владивосток: «Дальневосточное книжное издательство», 1976, с. 54.

«благородный энтузиазм Наук»<sup>75</sup>. С другой стороны, возвышенное связано с преодолением трудностей: чтобы «взгляду» российских путешественников открылась «другая» природа, уже находящаяся «во владении» европейцев, они должны преодолеть «неизмеримость» океана. Само преодоление возвышенных препятствий, как уже говорилось, конструирует возвышенный характер власти имперского центра, метонимически представленного фигурами путешественников<sup>76</sup>. Результатом преодоления возвышенного в природе становится победа силы ума: «любопытство деятельного ума имеет рай свой, неизвестный умам робким и ленивым»<sup>77</sup>. Деятельность ума (научное познание) находит выражение и в практической деятельности – в установлении власти «просвещенного» ума над природой и «полудикими», что, по сути, является частью имперского европейского проекта.

Выражение «робкий ум» является аллюзией на «очень скромных»<sup>78</sup> патриотов, которые, в противоположность Петру I, считают, что русские не могут «господствовать» на водном «элементе»<sup>79</sup>. В утверждении и победе силы ума возвышенное проявляется скорее в кантовском, нежели берковском понимании. В момент переживания возвышенного, по Берку, ум полностью захватывает одна идея, подчиняя себе человека<sup>80</sup>. Здесь же дана установка на победу просвещенного разума<sup>81</sup> не только над страхом,

---

<sup>75</sup> Карамзин Н., «О Российском посольстве в Японию», с. 163.

<sup>76</sup> Катерина Кларк писала, что дискурс покорения возвышенной природы может служить «источником нарративных стратегий для репрезентации власти». Она показала это на примере анализа способов «репрезентации» власти Сталина (см.: Кларк К., «Имперское возвышенное в советской культуре второй половины 1930-х годов», с. 59).

<sup>77</sup> Карамзин Н., «О Российском посольстве в Японию», с. 167.

<sup>78</sup> Там же.

<sup>79</sup> Там же, с. 170.

<sup>80</sup> Берк Э., *Философское исследование...*, с. 88.

<sup>81</sup> Кант в «Критике способности суждения» пишет, что «истинную возвышенность надо искать только в душе того, кто высказывает суждение, а не в объекте природы»; наделяя объекты возвышенностью и переживая их таковыми, «душа чувствует себя в своем собственном суждении приподнятой, когда она /.../ находит, что вся сила воображения все же несоразмерна идеям разума» (Кант И., *Сочинения в 6-и томах*, том 5, Москва: «Мысль», 1966, с. 263). Таким образом, разум одерживает победу над воображением, не способным «охватить» чувственный предмет, ввиду его чрезмерной величины: при этом «временное торможение жизненных сил» при восприятии такого предмета затем сменяется их «еще более сильным проявлением» (Там же, с. 250). Понятие возвышенного, как говорит Кант, «делает ощутимой в нас самих целесообразность, совершенно независимую от природы» (Там же, с. 252).

но и «опасностями», «дикими народами» и природой. Таким образом, возвышенное и экзотическое не являются нейтральными эстетическими характеристиками природы – «преодоление» возвышенной природы имплицитно подразумевает утверждение возвышенной имперской власти<sup>82</sup>.

Итак, можно сделать вывод, что живописная природа Москвы и ее окрестностей представляет своего рода «оазис», в котором актуализируется прекрасное: она способствует общению, установлению социальных связей и получению наслаждения. Являясь частью «своего» пространства и вызывая любовь, она не требует «преодоления» или «освоения». Чуждая природа Петербурга, равно как и экзотические ужасы, попадают в категорию «чужого» пространства, актуализируя идею об их «освоении» или «подчинении». Если природа Москвы и ее окрестностей может дать «выгодное понятие» о нации (красота природы «метафорически» переносится на нацию, представляющуюся приятным, живым сообществом, способным *чувствовать естественные* красоты), то экзотика и ужасы могут дать «выгодное понятие» об ее имперской составляющей (ее силе и способности *преодолевать и осваивать возвышенное*).

## Время

В политических статьях «Вестника Европы» *время* в контексте воображения нации характеризует определенные качества нации, а также

---

<sup>82</sup> Следует отметить, что, как показывают некоторые исследования, наделение природы/ народа возвышенными или экзотическими характеристиками иногда связано с конструированием культурной дистанции и онтологизацией «Другого». Так, сентиментализация экзотики в культурном дискурсе может быть направлена на то, чтобы вызвать «сильные эмоции по поводу разницы» между культурами (например, экзотизация востока, выражающаяся в его феминизации, наделении пассивностью, иррациональностью, странностью и необычностью), а экзотика в научном дискурсе, наоборот, служит для того, чтобы сделать ее своей, понятной, «одомашнить» и элиминировать разницу (см.: Pramod N.K., *Colonial Voices: The Discourses of Empire*, Blackwell Publishing, 2012). Фернанда Пеньялоза также пишет, что «страсть к неизвестному, диалектика отношений между Я (*self*) и возвышенным в экзотических нарративах» может «принадлежать к эпистемологии колониального дискурса», а возвышенное – служить артикуляции «бинарной оппозиции между колонизатором и колонизируемым» (см.: Peñaloza F., “Appropriating the ‘Unattainable’: The British Travel Experience in Patagonia”, in: *Informal Empire in Latin America: Culture, Commerce and Capital*, M. Brown (ed.), Oxford: Blackwell Publishing, 2008, p. 172).

является важным элементом в конструировании нации как *эмоционального сообщества*, представляя собой некую временную ось, в определенной точке которой и «располагается» это сообщество.

Во многих статьях «Вестника Европы» Россию маркирует *время начала*, выражающееся в юности Александра I и способности русских «чувствовать». Оно особенно заметно в «Письме к издателю»: «сердца наши, под кротким и благодетельным правлением *юного* монарха покойны и веселы»<sup>83</sup>, «чувство в нас *новее* и *свежее*»<sup>84</sup>. Время также характеризуется *динамичностью*: в России торговля «книгопродавцев» «беспрестанно возрастает», «охота к чтению распространяется», рапсоды «продают множество книг сельским нашим дворянам»<sup>85</sup>. Европа же, напротив, маркируется *временем конца*, выражающимся в определенной степени *пресыщения*: «Европа, наскучила беспорядками и кровопролитием»<sup>86</sup>. Время конца, с одной стороны, указывает на окончание войны, а с другой – на то, что потенциал Европы как бы уже достиг своего пика. На этом фоне четче выступает «молодость» России. В «Известиях и замечаниях» прямо говорится, что «/.../ Россия есть Государство *новое*; в начале пути силы крепки и *свежи*: сколько надежд для патриотической гордости» («Известия и замечания»)<sup>87</sup>; или «А мы именуемся еще *новым* народом в Европе: славлюбие русских есть *свежее*, пылкое чувство; мы *не утомились*, но только разворачиваем силы

---

<sup>83</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 1, с. 3.

<sup>84</sup> Там же, с. 5.

<sup>85</sup> Там же.

<sup>86</sup> Там же, с. 3. Сравним у Жуковского в письме к А. И. Тургеневу от 4 декабря 1810 г. (Белев): «Это правда, что мы в сношении с такими народами, которые дошли уже до степени *пресыщения* в образовании умственном и которые необходимо должны требовать *нового* для того, чтобы оживлять умственную свою деятельность; но нам это *сношение* не дает еще права на *равенство*, и то, что может быть весьма полезно для наших соседей, то очень еще бесполезно для нас» (Жуковский В.А., *Собрание сочинений в четырех томах*, том 4, Москва-Ленинград: Государственное издательство художественной литературы, 1959-1960, с. 482). Или у Фонвизина, который также высказывал эту мысль в письме к Я.И. Булгакову от 25 января/5 февраля 1778 г во время своего путешествия по Европе: "*Nous commençons et ils finissent*. Я верю, что тот, кто только что родился, счастливее того, кто должен скоро умереть» (Фонвизин Д.И., *Собрание сочинений в двух томах*, том 2, Москва-Ленинград: Государственное издательство художественной литературы, 1959, с. 493). Это сравнение указывает на то, что восприятие России как «молодой» нации было характерно для эпохи Карамзина в целом.

<sup>87</sup> *Вестник Европы*, 1803, № 13, с. 81.

свои /.../» («Известия и замечания»)<sup>88</sup>. Время начала и динамичность подчеркивают способность и потенциал русских к развитию и «учебе» по сравнению с европейцами.

В отличие от художественных прозаических произведений, в политических статьях присутствует устремленность или ориентация на будущее, связанная с «приятностью» и «надеждами», что характерно и для Европы, и для России: состояние Европы представляет собой «приятные действия надежды» («Всеобщее обозрение»)<sup>89</sup>; «никакое время не обещало столько политического и морального *благоденствия* Европе, как наше» после «революционной войны» («Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени»)<sup>90</sup>. Говоря о России, повествователь восклицает: «Какой надежды не можем разделять с другими европейскими народами?»<sup>91</sup>; «Не желаю быть мечтателем; но в царствование Александра могут ли добрые желания и патриотические *надежды* быть мечтами?»<sup>92</sup>; «Символ наш есть пылкий юноша: сердце его, полное жизни, любит деятельность; девиз его есть: труды и *надежда!* /.../» («О любви к отечеству и народной гордости»)<sup>93</sup>. Патриотические надежды на будущее связаны, прежде всего, с развитием культуры и просвещения, одной из задач которых был выход из состояния ученичества и подражания: «горе и человеку и народу, который будет всегдашним учеником!»<sup>94</sup>. Таким образом, помимо времени начала и динамичности, устремленность в будущее также подчеркивает способность «молодой» России к быстрому развитию в отличие от «пресытившейся» Европы.

Следует отметить, что, в отличие от «Письма к издателю», в статье «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени», Европу

---

<sup>88</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 22, с. 169.

<sup>89</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 1, с. 80.

<sup>90</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 12, с. 314.

Подробнее о мире см. II часть, подраздел «Конструирование нации как эмоционального сообщества: роль категорий прекрасного и возвышенного».

<sup>91</sup> Там же, с. 319.

<sup>92</sup> Там же, с. 331.

<sup>93</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 4, с. 69.

<sup>94</sup> Там же, с. 69.

также характеризует время начала: «Почти на всех тронах Европы видим юных государей»<sup>95</sup>. Однако в данном случае «молодость» государей символизирует не «молодость» нации, но *новое* понимание ими государственного блага, которое, по сути, является возвращением «старого», то есть осознанием необходимости незыблемого, гражданского порядка, что, с точки зрения Карамзина, связано с позитивными изменениями, происходящими в Европе после Французской революции. Здесь настоящее противопоставляется недалекому прошлому (периоду перед Французской революцией), когда необыкновенные умы, «желая перемен в учреждении обществ /.../ в некотором смысле /.. / были врагами настоящего, теряясь в лестных мечтах воображения»<sup>96</sup>. Государя *теперь* отказываются от «химеры равенства состояний» и стараются, чтобы «гражданин во всяком состоянии мог быть доволен»<sup>97</sup>, а лучшие умы «готовы только способствовать *настоящему* порядку вещей, не думая о *новостях*»<sup>98</sup>. Таким образом, настоящее оказывается направленным на восстановление или реставрацию прошлого и «починку» разрушений, которые принесла с собой Французская революция. А «юность» монархов символизирует не разрыв со старым, но начало «нового старого». Поэтому Россию, не затронутую революцией, характеризует время начала и большой потенциал к развитию, по сравнению с Европой. При этом развитие во временном отношении выражается в поддержании связи с прошлым или актуализации прошлого в настоящем.

### **Аффективная граница нации**

Как уже говорилось, Россия для Карамзина была частью Европы в культурном смысле. Для него, говоря словами Зорина, «существовать

---

<sup>95</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 12, с. 316.

<sup>96</sup> Там же.

<sup>97</sup> Там же, с. 317.

<sup>98</sup> Там же, с. 314.

значило быть европейцем»<sup>99</sup>. В политических статьях Россия включается в европейское пространство по признаку распространенности просвещения. Тем не менее, анализируя функции *эмоций* в статьях из «Вестника Европы», можно обнаружить различные нюансы в переживании «соседства» с Европой, специфика которого раскрывается посредством конструирования аффективной границы между соседями – Россией и европейскими странами. Анализ этих статей показывает, что в ее конструировании участвуют главным образом эмоции *любви, ужаса и ненависти*.

**Любовь.** По мнению Сары Ахмед, частью работы эмоций является создание аффективных сообществ<sup>100</sup>, которые конституируются как «эффект идентификации с одними субъектами против других»<sup>101</sup>.

В политических статьях Карамзина в качестве одной из важнейших политических эмоций можно выделить любовь к человечеству, которая в принципе совпадает с любовью к Европе, а также любовь к отечеству. Любовь к Европе характеризуется тем, что она направлена на Европу в целом, без дифференциации отдельных стран. Так, описывая подготовку к войне между Англией и Францией в 1803 г., повествователь замечает: «Мы судим беспристрастно и не хотим быть в душе ни Французами, ни Британцами /.../. Любя человечество, желаем, чтобы Англия уцелела, ибо политические законы ее святы и премудры; любя человечество, желаем, чтобы жизнь Консула продолжилась, /.../, любя великих мужей, любим Бонапарте, который умеет побеждать и править; но еще более любим народ Английский, который умеет быть счастливым»<sup>102</sup>. В другом месте Карамзин пишет: «В Англии отечество есть не слово, а вещь, и любовь к нему, не риторическая фигура, а чувство. /.../ мы /.../ должны желать /.../ для успехов гражданственности и всего истинно-человеческого в людях,

---

<sup>99</sup> Зорин А., «Импорт чувств: к истории эмоциональной европеизации русского дворянства», с. 130.

<sup>100</sup> Ahmed S., *Cultural Politics of Emotions*, p. 9.

<sup>101</sup> Ibid., p. 7.

<sup>102</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1803, № 13, с. 83

чтобы Гений Альбиона еще долго, долго хранил благосостояние сего чудесного острова»<sup>103</sup>.

Если говорить в терминах Ахмед, то в данном случае результатом идентификации с Европой является эффект общности или похожести. Карамзин отождествляет Россию с Европой в том, что, как и европейцы, русские разделяют гуманные общечеловеческие ценности просвещения. Также он вдохновляется патриотизмом англичан, который должен, по его мнению, стать примером и для русских. Россия отождествляется с Европой и в том, что она, наряду с другими европейскими державами, Францией и Англией, «играет первую роль в мире»<sup>104</sup>, разделяя принадлежность к тому же силовому пространству. Следуя логике Ахмед, теперь должен быть задан следующий вопрос: против кого происходит у Карамзина «деидентификация» при любви и идентификации с Европой?

Похоже, что объектом «деидентификации» для него становится «неевропейский» мир, представляющий собой колониальные владения европейских стран в Америке и Азии, которые оцениваются им как «дикие».

Деидентификация с колониями особенно ярко проявляется в отношении Карамзина к гаитянскому восстанию 1802 г. под предводительством Туссена-Лувертюра. Так, комментируя известие из Лондона о мнимой смерти Туссена, а именно о том, что «негры», «боясь прибытия французской армии и зная намерение Африканского генерала покориться консулу /.../ сожгли его!!!», Карамзин пишет: «Негры способны ко всем злодействам»<sup>105</sup>. Колониальные восстания

---

<sup>103</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1803, № 9, с. 74.

<sup>104</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1803, № 13, с. 81.

В другом месте Карамзин комментирует известие об измене Туссена французам и битве на Антильских островах: когда африканские генералы стали проигрывать, они выходили из городов, сжигая их. Карамзин характеризует это как «варварство достойное Негров!» («Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1802, № 8, с. 384). «Что будет с несчастной Сен-Домингской [французской] армией, преданной жестокому климату и свирепым Неграм, без всякой помощи от Франции/.../» («Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1803, № 11, с. 234), – восклицает Карамзин в другой статье.

<sup>105</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1802, № 7, с. 291.

воспринимаются им, прежде всего, как нарушение законов, порядка и мира. Поэтому он сочувственно относится к тому, что Бонапарте «разоряет в Сен-Доминго последнее гнездо Французской революции»<sup>106</sup>. Идентификация с Европой усиливается образом Антильских островов как «ужасным местом гибели» европейцев. При этом, тем не менее, Карамзин осуждает жестокость колониальных завоеваний и «лютость предков» европейцев, которые «истребили всех первоначальных жителей в Сен-Доминго»<sup>107</sup>.

Идентификация с Европой происходит также и «против» Азии. Если Европа ассоциируется у Карамзина с великими людьми (например, Франция связана с именем «великого» консула), то Индия – с их незначительным количеством. Карамзин, комментируя известие издателя гамбургского журнала «Минерва» И. Архенгольца о приключениях ирландского солдата в Индии, пишет: «Читатели наши без сомнения также захотят иметь сведение о храбром и великодушном Томасе, Индейском герое; а между тем пожелаем ему новых успехов и нового счастья, в таких странах, которые весьма не богаты великими людьми»<sup>108</sup>.

Таким образом, любовь к человечеству в политических статьях Карамзина функционирует, прежде всего, как любовь к Европе, а Россия представляется частью панъевропейского аффективного сообщества посредством идентификации с европейскими ценностями (просвещением, законами, порядком, гуманностью) и деидентификации с менее «цивилизованным» миром.

Однако если любовь объединяет, то она же и разъединяет. Именно так функционирует «**любовь к отечеству**», главный аспект которой в анализируемых статьях заключается в конструировании отличий от Европы. Программной в этом отношении является статья «О любви к отечеству и народной гордости» (1802). В ней наряду с *физической* и *моральной* любовью рассматривается и любовь *политическая*,

---

<sup>106</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1802, № 8, с. 386.

<sup>107</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1802, № 24, с. 344

<sup>108</sup> «Георг Томас, солдат в Англии и царь в Индии», *Вестник Европы*, 1803, № 9, с. 55.

представляющая собой, с точки зрения Карамзина, ее высший тип или «великую добродетель», требующую «рассуждения», которое имеется не у всех людей<sup>109</sup>. Ее он определяет как «патриотизм»: «любовь ко благу и славе отечества и желание способствовать им во всех отношениях»<sup>110</sup>. Основой патриотизма он считает «гордость народную», которая, в свою очередь, основывается на «личном самолюбии»<sup>111</sup>. Патриотизм в понимании Карамзина представляет собой наиболее «рефлективное чувство», которое он противопоставляет «слепой страсти»<sup>112</sup>. Л.Н. Киселева, пользуясь выражением А.С. Шишкова, определяет позицию Карамзина как концепцию «беспристрастной» любви к отечеству, выражающуюся в том, что Карамзин, «утверждая идею прогресса, /.../ связывал будущее России с судьбой Европы»<sup>113</sup>. Однако меня здесь будет интересовать не столько содержание его концепции, сколько особенности «действия» любви в рассматриваемых статьях.

По сути, Карамзин в журнале пытается создать объект для позитивной идентификации, чтобы «циркуляция» любви шла не только в сторону Европы, но и России: «Я не смею думать, чтобы у нас в России было не много патриотов, но мне кажется, что мы излишне смиренны в мыслях о народном своем достоинстве, – а смирение в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут»<sup>114</sup>. Карамзин выражает желание, чтобы русские «более о себе мечтали»<sup>115</sup> и переключили внимание на «себя»: «Французские, английские авторы могут обойтись без нашей похвалы; но русским нужно, по крайней мере, внимание русских»<sup>116</sup>. При этом здесь важен не только когнитивный уровень (понимание достоинств), но и

---

<sup>109</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 4, с. 59.

<sup>110</sup> Там же.

<sup>111</sup> Там же, с. 60.

<sup>112</sup> Там же.

<sup>113</sup> Киселева Л.Н., «Журнал “Зритель” и две концепции патриотизма в русской литературе 1800-х г.г.», в: *Проблемы типологии русской литературы: Труды по русской и славянской филологии: Литературоведение/ Ученые записки Тартуского университета*, вып. 645, Тарту, 1985, с. 14, 15.

<sup>114</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 4, с. 60.

<sup>115</sup> Там же.

<sup>116</sup> Там же, с. 66.

эмоциональное переживание. Многие «патриотические места» в политических статьях Карамзина направлены на то, чтобы «втолкнуть» читателей в общее эмоциональное поле переживания себя как членов одного эмоционального сообщества, наделенного определенными достоинствами. А любовь к «себе», к «мы», говоря словами Ахмед, рождается как следствие «интенсификации» эмоции при столкновении с «другим».

Каким образом происходит аффективная встреча с Европой? Характерно то, что любовь к «себе» интенсифицируется, когда Европа поддерживает созданный Россией образ самой себя. Уважение – важное понятие в политическом словаре Карамзина. В словаре Даля «уважение» определяется следующим образом – «уважать»: «почитать, чтить, душевно признавать чьи-либо достоинства; ценить высоко; /.../ почитать за достойным внимания; /.../ принять за причину, убедиться и уступить, согласиться»<sup>117</sup>. Можно сказать, что уважение – это согласие одного субъекта поддерживать или разделять созданный другим субъектом образ<sup>118</sup>. Именно оно удовлетворяет и поддерживает «народные» гордость и самолюбие.

---

<sup>117</sup> Даль В.И., *Толковый словарь...*, том 2, с. 818.

<sup>118</sup> А.-Ю. Греймас пишет, что достоинство, или честь (*garbė*) является одним из важнейших понятий в моральной жизни человека. Ученый определяет достоинство как репрезентацию, образ себя, который человек создает, участвуя в социальной жизни. Этот «хрупкий» образ человек пытается охранять и одновременно выставлять напоказ публично. Достоинство основывается на «позитивной оценке образа самого себя», что в конечном итоге является «уверенностью в себе» (Greimas A.-J., *Semiotika*, Vilnius: Mintis, 1989, с. 374). По мнению Греймаса, оскорбление достоинства является метафорическим унижением человеческой личности.

Ю.М. Лотман также уделял достаточно много внимания содержанию понятия чести. Он показал, что в киевский период между понятиями чести и славы делалось четкое различие: «“Честь” подразумевает материальную награду или подарок, являющиеся знаком определенных отношений. “Слава” подразумевает отсутствие материального знака. Она невещественна и поэтому – в идеях феодального общества – более ценна /.../» (Лотман Ю.М., «Об оппозиции 'честь' – 'слава' в светских текстах киевского периода», в: Лотман Ю.М., *Избранные статьи*, том 3, Таллинн: «Александра», 1993, с. 115). Однако в XVIII в. границы между двумя понятиями стираются. В классицизме в понятие чести вкладывается бескорыстие и неожиданное материальных наград. В эпоху просвещения к чести вообще начинают относиться отрицательно из-за ее «знаковости» и противоположности «естественности» (см.: Там же, с. 119). Как и Греймас, Лотман связывал честь с проблематикой *индивидуального* поведения человека, обусловленного социальными конвенциями своего времени. В патриотическом дискурсе Карамзина «достоинство» имеет значение именно как положительный образ нации, предполагающий наличие уважения как от «себя», так и от «других».

Гордость и самолюбие в статьях Карамзина являются синонимичными понятиями. В значении гордости выделяется положительный смысл – «сохраняющий свое достоинство; сознающий свою силу, значение, превосходство»; «чувство удовлетворения от чего-либо (успеха, превосходства и т.п.)»<sup>119</sup>. Карамзин подчеркивал положительный смысл самолюбия, хотя в словарях, в основном, выделяется негативный аспект значения этого слова<sup>120</sup>. Характерный аспект самолюбия – направленность аффекта на себя – «самострастие», которое может быть «пристрастием к себе»<sup>121</sup>. Карамзину же важно именно «самострастие» в значении перенаправления «аффективного» внимания с Европы на «себя». В итоге для русского «народного самолюбия» огромное значение, с точки зрения писателя, имеет признание достоинств России Европой или, другими словами, признание Европой созданного Россией образа самой себя и уважение к нему.

Например, комментируя отрывок из лондонских газет, в котором выражается опасение по поводу того, что как только падет турецкая империя, русские могут оказаться в Египте, Карамзин пишет: «Вот предсказание мысли не противное русскому сердцу!»<sup>122</sup>. В другом месте Карамзин отмечает: «Не менее приятно русским видеть и знаки того почтения, которое Французское Правительство, столь могущественное, имеет к Петербургскому Кабинету»<sup>123</sup>. В конце статьи «О любви к отечеству и народной гордости» после призыва к тому, чтобы народ со

---

<sup>119</sup> *Словарь современного русского литературного языка*, том 3, Г-Е, 1954, с. 273.

В древнерусском языке в основном подчеркивается негативное значение гордости как синонима «хвастливости», «гордыни» (см.: Срезневский И.И., *Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам*, том 1: А-К, Санктпетербург: Типография императорской академии наук, 1893, с. 614).

<sup>120</sup> Самолюбие – «самострастие, пристрастие к себе; суетность и тщеславие во всем, что касается своей личности; щекотливость и обидчивость; желание первенства, почета, отличия, преимуществ перед другими» (Даль В.И., *Толковый словарь живого великорусского языка*, том 2: П-У. Москва: Олма-Пресс, 2002, с. 554).

Самолюбие – «пристрастие к самому себе» (см.: Срезневский И.И., *Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам*, том 3: Р-ѡ, Санктпетербург: Типография императорской академии наук, 1903, с. 251).

<sup>121</sup> Даль В. И., *Толковый словарь живого великорусского языка*, том 2, с. 554.

<sup>122</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1803, № 13, с. 81.

<sup>123</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1803, № 7, с. 348.

временем стал «сам собою», перестав быть учеником Европы, Карамзин снова подчеркивает уважение Европы: «Европа год от году нас более уважает»<sup>124</sup>. Там же Карамзин пишет, что «оскорбительно и гражданину называться сыном презренного отечества»<sup>125</sup>, а признание России Европой как раз является «дополнительным» основанием того, что он (сын) таковым не является. Таким образом, Европа «легитимирует» позитивный образ России. В связи с этим представляется верным мнение Живова о том, что неправомерно «выводить русский национализм из *ressentiment*'а по отношению к более цивилизованным странам (Англии и Франции)»<sup>126</sup>, как это делала Лия Гринфельд<sup>127</sup>. Проведенный анализ показывает, что признание и уважение Европы только способствует интенсификации любви к «себе».

**Ужас.** Другой важной политической эмоцией, участвующей в конструировании аффективной границы между странами (нациями), является *ужас*, представляющий собой один из главных аспектов переживания возвышенного. То же справедливо и в отношении *страха* – его аффективной модификации. Далее будет показано, что специфика ужаса и страха в политических статьях связана с переживанием России как империи странами-«соседями».

Так, на политической арене «соседство» России может переживаться европейскими странами как *ужасное*: «колосс России *ужасен* не только для соседей, но /.../ рука его и вдали может достать и сокрушить неприятеля», – говорит повествователь в статье «Приятные виды и надежды и желания нынешнего времени»<sup>128</sup>. Употребление слова «колосс» (как и в одической традиции) обычно относится к империи,

---

<sup>124</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 4, с. 69.

<sup>125</sup> Там же, 60.

<sup>126</sup> Живов В., «Чувствительный национализм...», с. 124.

<sup>127</sup> Например, Лия Гринфельд пишет, что читателя изумляет «безоговорочный, безудержный восторг [Карамзина] перед Западом» периода «Писем русского путешественника», которому «вскоре» на смену пришел «угрюмый, оборонительный национализм» (см.: Greenfeld L. *Nationalism: Five Roads to Modernity*, p. 232.

<sup>128</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 12, с. 320).

которая становится источником переживания возвышенного для воспринимающего субъекта<sup>129</sup>.

Ужас связан не только с возможной угрозой для политического существования различных стран, но и с величием России – «Никогда Россия столько не *уважалась* в политике, никогда ее *величие* не было так живо чувствуемо *во всех землях*»<sup>130</sup> («Приятные виды и надежды нынешнего времени»). В данном случае причиной переживания ужаса является возвышенное, которое связано с идеей огромности и силы<sup>131</sup>. Таким образом, Россия, «превышая обычную меру», не вмещается в пределы своих физических границ и метафорически охватывает все земли.

Об ужасе, который вызывает сила России, также говорится в лондонских газетах, известия из которых сообщает Карамзин. Он отмечает, что в них много пишут о посредничестве Александра I и о том, «что доньше Россия все брала и побеждала; что сила ее беспрестанно возрастает и будет *ужасною* для Европы, как скоро падет Турецкая Империя; что Русские из Константинополя могут быть в Египте...»<sup>132</sup>. Таким образом, ужас как переживание возвышенного «подчиняет» себе другие страны. И если, к примеру, в ломоносовских одах лирический субъект подчиняется «грозному» монарху, то в политических статьях место лирического субъекта занимают страны-«соседи». При этом «ужасность» России сочетается с ее «блеском славы»<sup>133</sup>, и поэтому «подчинение» стран силе возвышенного выражается, прежде всего, в уважении или почтении как одной из возможных на него реакций (наряду с изумлением и благоговением)<sup>134</sup>: «Сия великая Держава [Россия] является ныне предметом *всемирного почтения, всемирной*

---

<sup>129</sup> Вот другой пример употребления «колосса»: «внутреннее бессилие тамошнего [турецкого] Правительства должно ускорить падение огромного Турецкого колосса» («Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1803, № 9, с. 69).

<sup>130</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 12, с. 319-320.

<sup>131</sup> Берк Э., *Философское исследование...*, с. 94-102.

<sup>132</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1803, № 13, с. 81.

<sup>133</sup> Карамзин Н., «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени», с. 319.

<sup>134</sup> Берк Э., *Философское исследование...*, с. 159.

доверенности»<sup>135</sup>, – в «почтении» России участвуют не отдельные страны, но весь мир.

В том, что «рука российского колосса» «и вдали может достать и сокрушить неприятеля» и что величие России чувствуется «во всех землях», содержится указание на возможности России. Следует отметить, что «рука» символизирует стремление к обладанию или доминированию не только России, но и других европейских стран, например Франции. Это подтверждается нижеприведенным контекстом. Карамзин переводит статью издателя французской газеты, в которой тот, выражая опасение по поводу усиления силы Америки и предвидя, что «сия республика со временем овладеет Новым миром и всеми Американскими Колониями»<sup>136</sup>, задает вопрос: «не должна ли Европа всячески отдалять сию эпоху, и здравая политика не требует ли того, чтобы /.../ поставить в Америке предел для властолюбия сей Республики, которой Натура обещает господство над половиною земного шара» (речь идет о том, что Франция хочет «владеть» Луизианой, тем самым предполагая «оказать услугу» Англии)<sup>137</sup>. На это Карамзин восклицает: «Вот прекрасная Логика нынешней Французской Политики! Вероятно, что неблагодарный Английский кабинет не изъявит Франции ни малейшей признательности за то, что она *утвердит свою руку* в Америке!»<sup>138</sup>. Здесь *рука* становится своеобразным имперским жестом, поскольку сфера ее действия не локальна, но охватывает пространство всего «земного шара»<sup>139</sup>.

---

<sup>135</sup> «О посредстве России и Франции в делах Германии (Из Французского журнала)», *Вестник Европы*, 1802, № 19, с. 231.

<sup>136</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1802, № 10, с. 180.

<sup>137</sup> Там же.

<sup>138</sup> Там же, с. 182.

<sup>139</sup> Рука может являться как символом божественной, так и имперской власти. Например, в оде Державина «На приобретение Крыма» (1784) читаем: «Россия наложила руку/ На Тавр, Кавказ и Херсонес,/ И распусть в Босфоре флаги,/ Стамбулу флотами гремит; Не подвиги Готфридов храбрых/ И не Крестовски древни рати,/ Се мой теперь парит орел!/ Магмет, от ужаса бледнея,/ Заносит из Европы ногу –/ И возрастает Константин!» (Державин Г.Р., *Сочинения*, Санкт-Петербург: Академический проект, 2002, с. 85). Рука может быть и символом мира, гарантируемого монархом, как, например, в оде Ломоносова «На прибытие ее величества великия государыни императрицы Елисаветы Петровны из Москвы в Санктпетербург по коронации» (1742): «Ликуйте, множества озер, /.../ Елисавета к вам приходит,/ Любя вселенная покой,/ Уже простертой вам рукой/ Дарует мирные оливы» (Ломоносов М.В., *Избранные произведения*, с. 91).

Интересно отметить, что соседство Франции также переживается Англией как ужасное в контексте готовящейся высадки наполеоновских войск: «Равновесие государств исчезло: колосс Франции *ужасен*» – говорит Виндам в Парламенте<sup>140</sup>. В другом месте Карамзин цитирует речь Виндама, выписывая «самое риторское место»<sup>141</sup>, где Виндам сравнивает Францию с «*грозным привидением*», которое «везде нам [англичанам] является с своими ужасами», и выражает сожаление по поводу того, что англичане отдали «свои отдаленные убежища: Мыс Доброй Надежды, Эссеквибо, Демерари, Курасао, Мальту»<sup>142</sup>. Виндам восклицает: «Куда ни устремляю взоры, везде вижу *страшный фантом* французского величия, и смиряюсь в чувстве нашего *бессилия!*»<sup>143</sup>. Карамзин резюмирует: «риторские красоты» были «только повторением известного: для чего все отдали Французам?»<sup>144</sup>. Как и в случае с Россией, расширение Франции до самых «отдаленных убежищ» переживается как «ужасное». Тенденция Франции к расширению границ своего присутствия символизируется образом «грозного привидения», которое может возникнуть в любом месте.

Таким образом, аффективное «соседство» стран (России, Англии и Франции) можно охарактеризовать как имперское. Они являются источниками возвышенного, сфера действия которого глобальна и метафорически распространяется на «весь мир», вызывая *ужас*<sup>145</sup>.

---

<sup>140</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1803, № 13, с. 77.

<sup>141</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1802, № 12, с. 349.

<sup>142</sup> Там же, с. 350.

<sup>143</sup> Там же.

<sup>144</sup> Там же.

<sup>145</sup> Довиле Якнюнайте в своем исследовании специфики феномена «соседства» в международных отношениях выделяет *территорию* в качестве одного из главных конститутивных элементов феномена соседства и приводит любопытную этимологию этого слова, предложенную Иво Духачеком. С одной стороны, в него входит значение земли – *terra*. А с другой – слово территория, как говорит Духачек, могло возникнуть из латинского *territorium*, на основе *terrere*, означающего *бояться, устрашать*. Поэтому территория может пониматься как «место, от которого надо отпугивать» (см.: Duchacek I.D. *The Territorial Dimension of Politics: Within Among, and Across Nations*, Boulder and London: Westview Press, 1986, p. 3. Цит. по: Jakniūnaitė D., *Kur prasideda ir baigiasi Rusija: kaimynystė tarptautinėje politikoje*, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, p. 57-58). Таким образом, ужас также можно интерпретировать как эмоцию, которая не только «подавляет», но и «отталкивает» или «отпугивает» врагов от «своей» территории.

Переживание ужаса связано не только с реальной угрозой войны (и перераспределением власти в мире), но и с уважением и почтением к «блеску славы» (России). Кроме того, представляется, что ужас является «нормативной» эмоцией в политике Карамзина, то есть способность вызывать «ужас» оказывается одним из гарантов политической силы и внутреннего благосостояния России. Вполне возможно, что Карамзин, определяя Россию как «ужасную», заимствует эмоциональную риторiku из английских/ французских периодических изданий, из которых он переводил статьи для «Вестника Европы». С другой стороны, эта риторика может наследоваться и из одической традиции. Здесь напрашивается параллель со строками из оды Ломоносова, в которой изображен разговор Петра I с Иваном Грозным: «Герою молвил тут Герой:/ «Нетщечно я с тобой трудился,/.../ Чтоб россов целой свет страшился./ Чрез нас предел наш стал широк»<sup>146</sup>. Изображаемый в оде страх так же, как у Карамзина, распространяется на «весь» свет, являясь результатом «трудов», которыми Россия приобретает возвышенные добродетели: силу, умение вести «благоразумную политику»<sup>147</sup>, справедливость.

**Ненависть** является явно доминирующей эмоцией в описании готовящейся войны между Англией и Францией. Карамзин характеризует ее как «имеющую все знаки злобы и остервенения», консул «пылает мезтью», его ораторы гремят: «Истреби Англию!»<sup>148</sup>. Далее он пишет, что взаимные угрозы «грозных неприятелей», Англии и Франции, «доказывают только взаимное остервенение и ненависть двух великих народов. /.../ Британский флаг приводит их [европейцев] почти в такой же ужас», как ранее при встрече с «алжирцами или тунисцами»; «едва ли какая другая война была так ненавистна Европе как нынешняя/.../»<sup>149</sup>. Писатель постоянно подчеркивает ненависть между «/.../ двумя народами

<sup>146</sup> «Ода блаженныя памяти государыне императрицы Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года», в: Ломоносов М.В., *Избранные произведения*, с.65.

<sup>147</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1802, № 23, с. 246.

<sup>148</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1803, №. 13, с. 71.

<sup>149</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1803, №. 17, с. 159-160.

(или Правительствами) которые *ненавидят* друг друга, они могут ухитриться и все еще найти способ лить кровь человеческую, в доказательство что между людьми и тиграми мало разницы»<sup>150</sup>. Таким образом, война в Европе, ненависть и ужас, которые она вызывает, оцениваются Карамзиным крайне негативно. Если ужас «колосса России» подразумевал имперское величие и военную силу, то здесь ужас низводится до уровня животных эмоций – флаг Англии воспринимается как пиратский, люди «превращаются» в тигров. Ненависть, «основанная на патриотизме», также оказывается тем чувством, которое конструирует аффективную границу между Англией и Францией. Карамзин пишет: «Британцы ненавидят величие Франции, зная, что их падение неминуемо, если Республика удержится на той степени могущества, на которую поставил ее Бонапарте. Сия ненависть должна казаться ему естественною и справедливою, будучи основана на патриотизме»<sup>151</sup>. Его высказывание перекликается с мыслью Виндама, выступление которого переводил Карамзин: «Говорят, что она [Европа] ненавидит Францию, но Франция довольна, когда ее боятся. /.../ Мы имеем дело с неприятелем дерзким»<sup>152</sup>.

Итак, три европейские державы, «играющие первую роль в мире», Англия, Франция и Россия являются «своими» (в восприятии Карамзина), разделяя между собой мировое первенство в политике. При этом Франция и Россия равным образом вызывают ужас у «соседей». Однако если для Наполеона их ненависть к Франции кажется «приемлемой» эмоцией, то для Карамзина «приемлемой» эмоцией по отношению к России является «страх», указывающий на восприятие России как возвышенного субъекта другими странами. Ненависть между просвещенными странами для него недопустима, так как она не соответствует их уровню и стирает границу между просвещением и «животностью», разрушая общую гармонию в Европе, установившуюся в

---

<sup>150</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1803, № 8, с. 346.

<sup>151</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1803, № 20, с. 236.

<sup>152</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1803, № 13, с. 78.

относительно мирный для нее 1802 год. Ненавидящие друг друга «просвещенные» страны «отчуждаются» и как бы выпадают из общего пространства просвещения, низводясь до уровня «диких животных» («между людьми и тиграми мало розницы»).

### **Нация как эмоциональное сообщество: роль категорий возвышенного и прекрасного в ее «воображении»**

Юрий Лотман отмечал, что «антитеза Наполеон – Александр» является «организующей нитью политической позиции “Вестника Европы”»<sup>153</sup>. Такие качества Наполеона, как его неординарная сила характера, способность управлять государством, понимание эгоистической психологии людей и их интересов и трезвость его политики, противопоставляются «слабому», но доброму Александру, который поддавался «корыстным увещаниям окружающих его вельмож»<sup>154</sup>. Карамзин выражает это противопоставление косвенным образом, подбирая для публикаций соответствующие материалы и в некоторых случаях вольно обращаясь с их переводом<sup>155</sup>. Можно взглянуть на эту антитезу и с другой стороны. Представляется, что она определенным образом связана с функционированием категорий *возвышенного* и *прекрасного*. Как будет показано далее, эти категории проявляются не только в изображении характеров монархов, но и в конструировании эмоционального сообщества, осью которого являются отношения между монархом и подданными.

Следует напомнить, что категория возвышенного всегда связана с властными отношениями, а реакцией на возвышенное является ужас и его модификации. В уже рассмотренных текстах Карамзина возвышенное

---

<sup>153</sup> Лотман Ю.М., *Сотворение Карамзина*, с. 285.

<sup>154</sup> Там же, с. 283-284.

<sup>155</sup> Там же, с. 285-288. Так же см.: Лотман Ю.М., «Эволюция мировоззрения Карамзина (1789-1803)», в: Лотман Ю.М., *Карамзин*, с. 336-343.

Противопоставление сильного и слабого монарха также во многом связано с идеей Карамзина о необходимости самодержавного правления в России, для которого, по его мнению, необходимы сила характера и власти монарха. Характер Наполеона должен был служить своеобразным «примером» Александру.

«работает» двойко: с одной стороны, как источник возвышенного воспринимается империя, а с другой – возвышенное проявляется как принцип «отцовской власти» внутри сообщества. Прекрасное, наоборот, выражает отношения в сообществе, основывающиеся не на подчинении авторитету, а на дружбе и симпатии. При этом именно прекрасное доминировало у Карамзина в конструировании нации как эмоционального сообщества.

Как и в «Похвальном слове», в котором категория прекрасного характеризует *идеальные* отношения между монархом и подданными, в политических статьях в изображении отношений между Александром I и подданными также преобладает прекрасное. Это косвенно перекликается с мнением В.Г. Березиной о том, что в «Вестнике Европы» Карамзин пишет «не столько о том, что реально существовало в русской жизни, сколько о том, что, по его мнению, *должно быть*»<sup>156</sup>. Возвышенное же, напротив, особенно ярко проявляется в описании Карамзиным *реальных* аспектов в управлении государством и обществом, а также способностей монарха к управлению.

Надо полагать, что причиной этому является «программа Карамзина в период “Вестника Европы”», которую Лотман определяет как «*политический реализм*»<sup>157</sup> (отказ от утопий и веры в добрую человеческую природу), ярче всего проявившийся в «Записке о древней и новой России». Однако «симпатии» Карамзина все равно находятся на стороне прекрасного. Карамзин восклицал: «Но для чего великая наука управлять государствами не есть одно с прекрасными движениями

---

<sup>156</sup> Березина В.Г., *Русская журналистика первой четверти XIX века*, Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1965, с. 13.

Березина отмечает «умеренно-либеральную» позицию Карамзина в вопросах просвещения и крепостного права (Там же, с. 16). Либеральную позицию Карамзина («требование более гуманного отношения к крепостным, осуждение жестокосердия помещиков») наряду с «политическим консерватизмом» отмечает и Б.И. Есин (*История русской журналистики (1703-1917): Учебно-методический комплект*, Москва: Флинта: Наука, 2001, с. 18). «Идеологическую позицию Карамзина» Гуковский также относит к «традиции дворянского либерализма», идеалы которой, однако, у Карамзина, с его точки зрения, превращаются в «образы прекрасной мечты человечества, культа, любования» (см.: Гуковский Г.А., «Карамзин», в: *Русская литература XVIII века*, Москва: Аспект Пресс, 1999, с. 427).

<sup>157</sup> Лотман Ю.М., *Сотворение Карамзина*, с. 282.

чувствительности?»<sup>158</sup> Откликаясь на начало войны между Англией и Францией, Карамзин пишет: «политика не есть филантропия: Министры смотрят только на пользу своего государства»<sup>159</sup>. Если в одах и «Похвальном слове» конструируется сообщество, основанное на любви (сообщество, которое *могло бы быть*), то в политических статьях в конструировании сообщества наряду с любовью подчеркивается страх и принцип власти или подчинения. Кроме того, особенное значение, помимо прекрасных или «женских» добродетелей, получают возвышенные или «мужские» (пример Наполеона).

Прекрасное, прежде всего, актуализируется в изображении Александра I. Он характеризуется как «добродетельный», «*наш* любимый монарх»<sup>160</sup>; он «не забывает в подданном человека», его путь осыпан цветами, все хотят выразить ему «признательность» и «хоть одним восклицанием сердца изъявить ему свою чувствительность»<sup>161</sup>; «во *всех* своих подданных желает найти признательных, *всех* равно любит и *всех* считает людьми»<sup>162</sup> [курсив Карамзина]; обладает «прекрасной душой», «небесной благостью»<sup>163</sup>. С точки зрения Берка, именно человек с мягкими добродетелями вызывает к себе нежность, в противоположность человеку, обладающему возвышенными добродетелями, которого можно бояться, чтить, уважать, но к которому не испытывается чувство любви или нежности<sup>164</sup>. Александр I вызывает к себе именно любовь, и несмотря на то, что Россия во время его правления характеризуется величием и славой, Карамзин не называет его великим. Наполеон, наоборот, наделяется возвышенными добродетелями: «Бонапарте, заставляя ожидать чрезвычайных явлений, представляется теперь нашим мыслям в каком-то священном мраке таинственности, разительном для

---

<sup>158</sup> «О Московском мятеже в царствование Алексея Михайловича», *Вестник Европы*, 1803, № 18, с. 142.

<sup>159</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1803, № 12, с. 310.

<sup>160</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1802, № 19, с. 234.

<sup>161</sup> Там же, с. 345-346.

<sup>162</sup> «О новом образовании народного просвещения в России», *Вестник Европы*, 1803, № 5, с. 53.

<sup>163</sup> Там же.

<sup>164</sup> Берк Э., *Философское исследование...*, с. 136-137.

воображения и весьма благоприятном для его величия»<sup>165</sup>. Карамзин называет его «главным историческим характером нашего времени»<sup>166</sup>. Если Александра I характеризуют «женские» добродетели, то Наполеона – «мужские». Таким образом, в рассматриваемой «антитезе» Александр I является воплощением прекрасного, а Наполеон – возвышенного.

Следует отметить, что в рассматриваемых статьях между мягкостью Александра I и спецификой *времени*, главным аспектом которого является *спокойствие*, существует особая связь. В этой части уже говорилось о том, что Россия у Карамзина характеризуется временем начала. Теперь остановимся подробнее на топосе спокойствия, который важен в конструировании нации как эмоционального сообщества и связан с категорией прекрасного.

Эндрю Кан, анализирувавший значение идеи спокойствия для российского философского дискурса и поэзии XVIII в., отмечал ее особую важность. Он показал, что спокойствие могло пониматься как определенное состояние не только «внутри» индивидуума, но и «вне» его. Например, спокойствие в природе понималось как «отражение рационально упорядоченной вселенной»<sup>167</sup>. Кан приходит к выводу, что в рассматриваемый им период между спокойствием и счастьем ставился знак равенства<sup>168</sup>.

В политических статьях Карамзина спокойствие также занимает существенное место. Одно из главных его значений – мир: «Какая слава для нашего монарха даровать *мир* Европе и человечеству!»<sup>169</sup>; «Россия, будучи в союзе с Францией, может хранить *мир* Европы»<sup>170</sup>. О готовящейся войне между Англией и Францией он пишет: «... едва ли какая другая война была так ненавистна Европе, как нынешняя: ибо

---

<sup>165</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1803, № 15, с. 229.

<sup>166</sup> «Взор на прошедший год», *Вестник Европы*, 1803, № 1, с. 76.

<sup>167</sup> Kahn A., «“Блаженство не в лучах порфира”. Histoire et fonction de la tranquillité (spokoïstvie) dans la pensée et la poésie russes du XVIII siècle, de Kantemir au sentimentalisme», *Revue des études slaves, tome soixante-quatrième*, traduit de l'anglais par Jean Breuillard, Paris: 2002-2003, p. 670.

<sup>168</sup> *Ibid.*, p. 686.

<sup>169</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1802, № 12, с. 323.

<sup>170</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1802, № 19, с. 233.

никогда *мир* не казался столь нужным и драгоценным, как в наше время»<sup>171</sup>.

С другой стороны, спокойствие связано со счастьем. Карамзин пишет: «нынешнее *счастливое* состояние России, мудрый дух правления, *спокойствие* сердец, веселые лица»<sup>172</sup>; «мы желаем уведомлять читателей о *мирном* благоденствии держав /.../. Военные громы возбуждают нетерпеливое любопытство; успехи мира приятны сердцу»<sup>173</sup>. «/.../ все искренние друзья *тишины* и *благоустройства* желают ему [Бонапарту] долголетия, чтобы Франция и вся Европа успели приобрести драгоценный навык *спокойствия*, который может спасти нас от новых бед»<sup>174</sup>. Он выражает надежду, что Консул «удовольствуется на всю жизнь свою *спокойным* царствованием /.../, не захочет ни опасностей войны, ни важных перемен в системе внутреннего правления, которые питают беспокойство в умах»<sup>175</sup>.

Мирное время, характеризующееся «спокойствием сердец», важно тем, что в нем проявляется социальный принцип дружбы или любви – оно «утверждает сердечную связь подданных с монархами»<sup>176</sup>. Мир и спокойствие «приятны сердцу», вызывают «сердечное удовольствие»<sup>177</sup>. Та же самая эмоция отмечается и в некоторых переводных статьях: после революции французы «в восторге сердечной любви обнимают друг друга под спасительным царствованием законов»<sup>178</sup>, англичане – «вне себя от радости»<sup>179</sup>. Во взаимоотношениях между Александром I и подданными

---

<sup>171</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1803, № 18, с. 160.

Ср.: Карамзин пишет по поводу слухов о высадке Наполеона: «Уже Французские Генералы и Сенаторы вызвались плыть с ним на одном корабле... увидим ... но лучше не видеть; лучше, чтобы великодушное посредство Александра, даровав мир Англии и Франции, утешило человечество и возвеличило славу России» («Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1803, № 13, с. 84).

<sup>172</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1803, № 7, с. 325.

<sup>173</sup> «Всеобщее обозрение», *Вестник Европы*, 1802, № 1, с. 84.

<sup>174</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1802, № 24, с. 340-341.

<sup>175</sup> Там же, с. 340.

<sup>176</sup> «Всеобщее обозрение», с. 84.

<sup>177</sup> Там же.

<sup>178</sup> «Речь Депутатов Французского Законодательного Совета, в ответ Консулам на обнародованную ими картину Республики», *Вестник Европы*, 1802, № 2, с. 67.

<sup>179</sup> «Всеобщее обозрение», с. 75.

преобладает радость: дворяне могут служить ему теперь «в радостной одежде»<sup>180</sup>. Мирное время актуализирует потребность в обоюдной любви: правительства «чувствуют /.../ нужду в любви народной»<sup>181</sup>, – а крестьяне испытывают любовь к помещикам, представляющим власть: «/.../ за что им не любить господина, который старается быть добрым и главное удовольствие находит в их пользе»<sup>182</sup>. Помещики метонимически репрезентируют монарха: доброта помещиков по отношению к крестьянам выражает желание Александра I «счастья для земледельцев»<sup>183</sup>.

Следует отметить, что залогом счастливого существования подданных является сохранение существующих социальных границ (как и в «Похвальном слове»), поскольку они обеспечивают *покой* и стабильность, которые и делают возможным объединение сообщества на основе эвфорических (положительных) эмоций. С точки зрения Карамзина, все должны «повиноваться охотно и делать все возможное добро вокруг себя»<sup>184</sup>. Мир также является гарантом развития «художества», науки, благотворительности и просвещения. Особая роль в «утверждении сердечных связей» принадлежит литературе: «Литература, более нежели когда-нибудь способствуя истинному просвещению, обратилась ныне к утверждению всех общественных связей»<sup>185</sup>. Их установление и есть проявление прекрасного<sup>186</sup>, а «чувствительность» Александра I, покровительствующего просвещению, способствует их формированию. К этому имеет прямое отношение и сам «Вестник Европы», участвующий в формировании **эмоционального сообщества читателей**. Эндрю Кан отмечает следующие особенности журнальной деятельности Карамзина: ориентацию на дворянство; стремление формировать общественное мнение; внимание к публичной сфере,

<sup>180</sup> «О новом образовании народного просвещения в России», с. 55.

<sup>181</sup> «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени», с. 316.

<sup>182</sup> «Письмо сельского жителя», *Вестник Европы*, 1803, № 17, с. 57.

<sup>183</sup> Там же, с. 59.

<sup>184</sup> «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени», с. 315.

<sup>185</sup> Там же, с. 318.

<sup>186</sup> Берк Э., *Философское исследование...*, с. 75, 76.

понимаемой не как политика, но как совокупность «культурных и социальных институтов»; создание образа читателя как «вымышленного друга», по отношению к которому выражаются сентиментальные чувства<sup>187</sup>. На последнем тезисе стоит остановиться подробнее и рассмотреть, как это происходит в самом тексте.

В программной статье журнала «Письмо к издателю» в самом первом предложении возникает топос *спокойствия* или тишины. «Друг» издателя выражает радость по поводу его намерения «издавать журнал для России в такое время, когда сердца наши под *кротким* и благодетельным правлением юного монарха *покойны* и веселы, когда вся Европа /.../ заключает *мир* /.../ когда таланты в свободной тишине и на досуге могут заняться всеми полезными и *милыми* для души предметами», а литература должна влиять «на нравы и *счастье*»<sup>188</sup>. Александр I в этом «Письме» представляется «устроителем» мирного времени, когда оказывается возможным активизировать душевную способность чувствования у читателей. Повествователь обращается именно к этой их способности.

Перед журналом ставится задача – «помогать нравственному образованию такого великого и сильного *народа* [курсив Карамзина], как российский; развивать идеи, указывать новые красоты в жизни, питать душу моральными удовольствиями и сливать ее в сладких чувствах со благом других людей!»<sup>189</sup>. «Образование» включает в себе двойное значение: с одной стороны, оно понимается в значении просвещения, а с другой – в значении формирования эмоциональной общности и способности чувствовать общую идентичность. Как журнал, так и литература в целом, должны реализовывать принцип социальности, основанный на симпатии – «сливать» души и «указывать красоты».

Характерно то, что повествователь в «Письме к издателю» предстает как друг или знакомый издателя, любитель «рапсодов», а

---

<sup>187</sup> Kahn A., «Introduction: Karamzin and the creation of a readership», p. 10.

<sup>188</sup> «Письмо к издателю», *Вестник Европы*, 1802, № 1, с. 3.

<sup>189</sup> Там же, с. 6.

издатель в тексте артикулируется местоимением «ты», что позволяет создать иллюзию искренности и непосредственности в обращении: «Искренно скажу тебе, что я обрадовался намерению твоему издавать журнал для России в такое время/.../»<sup>190</sup>; «Ты как будто бы угадал мое желание и как будто *нарочно для меня* [курсив Карамзина] взялся исполнить его»<sup>191</sup>, «Сколько раз, читая любопытные европейские журналы /.../ желал я внутренно, чтобы какой-нибудь русский писатель вздумал и мог выбирать приятнейшее из сих иностранных цветников и пересаживать на землю отечественную!»<sup>192</sup>. То, что «*нарочно для меня*» выделено курсивом, показывает, что повествователь, «друг издателя» – один из многих, солидаризирующихся с его эмоциями.

Таким образом, жанр письма и его эмоциональная риторика сокращают дистанцию между публикой и издателем и создают атмосферу близких, доверительных отношений. Он позволяет актуализировать сообщество читателей как друзей, способных испытывать тонкие эстетические чувства. И в этом «собрании» друзей-читателей Карамзин отказывается быть критиком, сатириком или «грозным обличителем». Письмо как публицистический жанр было очень популярно в XVIII в. и привычно для тогдашней журнальной прозы. В то же время оно являлось популярным сентименталистским жанром, благоприятствующим выражению тонких эмоциональных чувствований<sup>193</sup>, и поэтому его использование в качестве вступления в «Вестнике Европы» также позволяло актуализировать «эмоциональные компетенции» повествователя и читателей<sup>194</sup>.

---

<sup>190</sup> «Письмо к издателю», с. 4.

<sup>191</sup> Там же, с. 6.

<sup>192</sup> Там же.

<sup>193</sup> О роли письма в развитии русской сентименталистской прозы см., например: Лазарчук Р.М., «Проза Радищева и традиция эпистолярного жанра», *XVIII век. Сб. 12. А. Н. Радищев и литература его времени*, под ред. Макогоненко Г.П., Ленинград: «Наука», 1977, с. 72-82; Buhks N., “The Role of the Everyday Letter in the Development of Russian Sentimental Prose of the Late Eighteenth Century”, *The Modern Language Review*, vol. 80, № 4 (Oct., 1985), p. 884-889.

<sup>194</sup> Характерно, что карамзинскую эмоциональную риторику в обращении к читателю заимствуют последующие издатели «Вестника Европы», Василий Жуковский и Михаил Каченовский, программные статьи которых также написаны в виде «писем к издателю». Их письма отличаются той же эмоциональной насыщенностью и субъективными переживаниями,

Итак, одна из целей журнала – способствовать слиянию душ «в сладких чувствах», то есть формировать эмоциональную общность, что, как уже говорилось, является проявлением принципа дружбы, «ассоциирующегося с удовольствием и обнаруживаемого в домашних добродетелях привязанности, сострадания», и тем самым, категории прекрасного<sup>195</sup>. В свою очередь, принцип дружбы, проявляющийся в *мирное* время, характеризует не только «слияние душ» *внутри* страны, но также распространяется и на «союз» европейских народов: «Дружественный союз народов, благоприятствуя взаимному сообщению великих умов, подает справедливую надежду, что науки обогатятся еще открытиями /.../»<sup>196</sup>; «Теперь все лучшие умы стоят под знаменами властителей и готовы только способствовать успехам настоящего порядка вещей, не думая о новостях. Никогда согласие их не было столь явным, искренним и надежным»<sup>197</sup>. Прекрасное, таким образом, действует как *внутри* страны, так и *между* странами, способствуя «европейскому» объединению «душ». Можно сделать вывод, что прекрасное в конструировании нации как эмоционального сообщества в политических статьях выражается главным образом посредством топоса спокойствия, «вкуса к литературе» и установления «сердечных связей».

Однако этот спокойный мир, представляющий собой выражение прекрасного, оказывается очень хрупким. Чтобы он мог существовать, необходима сильная, основанная на законах власть и подчинение ей. Эта необходимость постоянно подчеркивается в разных статьях Карамзина и

---

что и карамзинские. Например, у Каченовского читаем: «мы, люди умеренные, узнав что Вестник продолжается /.../, мы искренне тому порадовались» («Письмо к издателю», *Вестник Европы*, 1805, № 1, с. 4). Каченовский называет себя «читателем самым снисходительным» (Там же, с. 3). У Жуковского в «Письме из уезда к Издателю» повествователь выступает в образе друга: «Поздравляю тебя, любезный друг», «Наши провинциалы обрадовались, когда услышали от меня, что ты готовишься быть Издателем Вестника Европы» (*Вестник Европы*, 1808, № 1, с. 3). Видимо, сокращение дистанции между «читателями» и «издателями» было общим местом в тогдашней публицистике.

<sup>195</sup> Wood N., “The Aesthetic Dimension of Burke’s Political Thought”, p. 175.

<sup>196</sup> «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени», с. 318.

<sup>197</sup> Там же, с. 316.

в переводных материалах «Вестника Европы»<sup>198</sup>. По мнению Берка, чем большим является общество, тем важнее для его функционирования становится в нем роль власти или политического принципа, символизируемого образом отца. И если власть отца в семье проявляется время от времени, то на уровне государства власть монарха действует постоянно, будучи источником возвышенного, а выражающий прекрасное принцип дружбы<sup>199</sup> в нем ослабевает.

Специфика сильной монархической власти<sup>200</sup> в текстах Карамзина также является источником возвышенного, что особенно ярко проявляется на фоне его отношения к Французской революции. В разных текстах из «Вестника Европы» выражается ее отрицательная оценка. При этом важно то, что революция лишается ореола возвышенности. Еще в 1797 г. Карамзин в статье «Несколько слов о русской литературе» писал: «Французская революция относится к таким явлениям, которые определяют судьбы человечества на долгий ряд веков /.../ [и] мы еще увидим множество поразительных явлений»<sup>201</sup>, – здесь она связана с чрезвычайностью, грандиозностью, которые являются «атрибутами» возвышенного<sup>202</sup>. Однако в статьях Карамзина и переводном материале из «Вестника Европы» акцентируется уже не столько возвышенная составляющая революции, сколько «животная». Например, в «Речи Депутатов Французского Законодательного Совета, в ответ Консулам на

---

<sup>198</sup> Например, Карамзин переводит «Речь государственного советника Порталиса, которому поручено было Консулом представить на рассмотрение Государственному Совету новый проект Гражданского Уложения для Франции», в которой отмечается, что «народ французский требует вечных, неизменных правил в основание своего благоденствия» (*Вестник Европы*, 1802, № 3, с. 73), связанных с традицией – «древними, спасительными правилами, освещенными уважением народов» (Там же, с. 71). В статье о «Силе Англии» Иоганна Архенгольца говорится о том, что британцы «обязаны всем своим новым могуществом» своей конституции (*Вестник Европы*, 1802, № 7, с. 260-261). См. также: «О Московском мятеже в царствование Алексея Михайловича», с. 119-145. Главное – подчинение законной власти, освященной традицией.

<sup>199</sup> Wood N., “The Aesthetic Dimension of Burke’s Political Thought”, p. 175.

<sup>200</sup> О концепции монархии, суверенитета и влиянии идей Монтескье на Карамзина см.: Pipes R., “Karamzin’s Conception of the Monarchy”, p. 105-125; Кислягина Л.Г., *Формирование общественно-политических взглядов Н.М. Карамзина (1785-1803)*, с. 146-164.

<sup>201</sup> Карамзин Н., *Избранные сочинения*, том 2, с. 152-153.

<sup>202</sup> Или, например, во «Всеобщем обозрении» Карамзин пишет, что особенным характером революции было «всеобщее волнение умов и сердец. Кто не занимался ею с живейшим чувством? Кто не желал ревностно успехов той или иной стороне?» (*Вестник Европы*, 1802, № 1, с. 66).

обнародованную ими картину Республики» революция характеризуется как «свирепое исступление междоусобной войны»<sup>203</sup>. В противоположность ей, законная власть наделяется «величием»: Республика, «спасенная от несчастий», «в полном блеске и силе юности, уважаемая дружественными Правлениями /.../ торжественно вступает в мир, и величественно занимает место свое среди держав первых»<sup>204</sup>. В «Истории Французской революции, выбранной из латинских писателей» революция характеризуется «лютостью и тиранством»<sup>205</sup>, а ею охваченная столица описывается как «ужасное зрелище», представленное сценами «распутства», «образами необузданности и свирепства» и «исступления»<sup>206</sup>. Действия людей после смерти монарха определяются «хищностью» и «желанием крови»<sup>207</sup>. Карамзин называет революцию «чудовищем», которое «умертвил» Консул, за что «заслужил вечную благодарность Франции и даже Европы»<sup>208</sup>. Таким образом, революция низводится из разряда возвышенного явления до «животного» уровня.

Ореол таинственности снимается с революции и переносится на «учреждения древности», которые у Карамзина наделяются «магической силой»<sup>209</sup>, а также на институты современной Карамзину высшей власти в России, такие, как, например, Сенат, перед которым «Россиянин благоговеет в душе своей»<sup>210</sup>. Именно они становятся источниками возвышенного. И если, как показала Мари Уэт, язык революции во Франции активно использовал риторику возвышенного – возвышенностью наделялась воля *народа*, его жертвы, отречение от себя во имя создания новых форм управления государством, в котором должна была быть политически репрезентирована его *воля*,<sup>211</sup> – то у Карамзина

---

<sup>203</sup> «Речь Депутатов Французского Законодательного Совета, в ответ Консулам на обнародованную ими картину Республики», *Вестник Европы*, 1802, № 2, с. 68.

<sup>204</sup> Там же, с. 67.

<sup>205</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 1, с. 32.

<sup>206</sup> Там же, с. 23.

<sup>207</sup> Там же, с. 28.

<sup>208</sup> «Взор на прошедший год», *Вестник Европы*, 1803, № 1, с. 79.

<sup>209</sup> «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени», с. 315.

<sup>210</sup> «Известия и замечания», *Вестник Европы*, 1802, № 19, с. 235.

<sup>211</sup> Huet M.-H., «The Revolutionary Sublime», p. 51-64.

возвышенное сосредотачивается, главным образом, в монархе, «священной особе» и «образе отечества»<sup>212</sup>. Монарх является тем лицом, которое в случае необходимости может «спасать» «слепой и безрассудный» народ «сам от себя»<sup>213</sup>. Таким образом, в диаде монарх/народ у Карамзина источником возвышенного становится не народ, но олицетворяемое монархом и самодержавной властью государство, в образовании которого проявляется таинственная воля «провидения»: «провидению угодно было составить из /.../ разнородных племен обширнейшее государство в мире»<sup>214</sup>. «Легитимность» и возвышенность монарха, помимо законного престолонаследования, определяется и таинственным провидением.

С точки зрения Карамзина, монарха, наделенного возвышенными добродетелями – величием, силой, мудростью – подданные должны бояться. Как и Берк, он четко отделял власть, основанную на *страхе* («спасительный страх»<sup>215</sup> и уважение, являющиеся выражением возвышенного у Берка), от тирании, основанной на ужасе и лишенной возвышенности. Обоснованию необходимости «экономии страха» (необходимости сильной власти) уделяется достаточно внимания в «Вестнике Европы». В более поздней работе «Записке о древней и новой России», целиком посвященной России, страх уже представлен в качестве центральной эмоции, обеспечивающей поддержание порядка в стране. Стоит рассмотреть функцию страха в «Записке о древней и новой России» подробнее, так как в ней ярче всего выражается принцип «политического реализма», поскольку в ней Карамзин говорит о «реальном» положении дел, а не о том, что «могло бы быть». В этом произведении можно выделить различные модификации страха, сильнейшей из которых является *ужас*.

---

<sup>212</sup> Карамзин Н., *Записка о древней и новой России*, с. 104.

<sup>213</sup> Карамзин Н., «О московском мятеже в царствовании Алексея Михайловича», с. 135.

<sup>214</sup> Карамзин Н., *Записка о древней и новой России*, с. 17.

О провидении как источнике возвышенного см. 1 часть.

<sup>215</sup> Карамзин Н., *Записка о древней и новой России*, с. 102.

Рассмотрим, что определяется как «ужасное» в политическом словаре Карамзина. Ужасностью характеризуется *Французская революция*: «ужасы французской революции излечили Европу от мечтаний гражданской вольности»<sup>216</sup>. «Безначалие» также вызывает ужас: оно «ужаснее самого злейшего властителя, подвергая опасности всех граждан»<sup>217</sup>. Ужасным (как проявление тирании) является и *царствование Павла I*: «сын Екатерины мог быть строгим и заслужить благодарность отечества; к неизъяснимому изумлению россиян, он начал господствовать всеобщим *ужасом*, не следуя никаким уставам, кроме своей прихоти; считал нас не подданными, а рабами; казнил без вины /.../»<sup>218</sup>. Как и правление Павла I, тираническим характером отличаются и царствования некоторых других монархов: Петр I прибегал «ко всем ужасам самовластия для обуздания своих, впрочем, столь верных подданных»<sup>219</sup>; «самовластие» Иоанна названо «грозным»<sup>220</sup>, а его «исступления» «ужасными»<sup>221</sup>. Таким образом, все эксцессы силы вызывают ужас, который лишен возвышенности, поскольку для того, чтобы быть возвышенным, он не должен вызывать прямой угрозы жизни (и «боль не [должна] переходить в насилие»), то есть должна соблюдаться определенная дистанция по отношению к наблюдаемому объекту/ субъекту<sup>222</sup>.

*Ужасу*, лишенному возвышенности, Карамзин противопоставляет риторику «спасительного страха». Если в «Похвальном слове» главной «сцепкой» в сообществе является любовь, то в «Записке о древней и новой России» – страх. А твердость, в противоположность мягкости, становится главной добродетелью: государство «держится в твердой

---

<sup>216</sup> Там же, с. 44.

<sup>217</sup> Там же, с. 46.

<sup>218</sup> Там же, с. 45.

<sup>219</sup> Там же, с. 35.

<sup>220</sup> Там же, с. 25.

<sup>221</sup> Там же, с. 27.

<sup>222</sup> Берк Э., *Философское исследование...*, с. 159.

руке»<sup>223</sup>; не достаточно «собрать части в целое: надлежало еще связать их твердо»<sup>224</sup>; «сильною рукою дано новое движение России» (Петр I)<sup>225</sup>.

Твердость связана с возвышенным страхом, который вызывает «величественный» монарх или бояре: «в течение веков народ обвык чтить бояр, как мужей, ознаменованных величием, – поклонялся им с истинным уничижением»<sup>226</sup>. Неуважение к монарху исключается: «не должно позволять, чтоб кто-нибудь в России смел /.../ не уважать монарха»<sup>227</sup>. Как и для Берка, для которого покорность – «необходимый элемент политической морали», связанный с особой реакцией на мир, характеризующейся «благоговением, открытостью, покорностью», что является частью переживания возвышенного<sup>228</sup>, так и для Карамзина покорность – важный элемент в функционировании общества<sup>229</sup>.

В «Записке о древней и новой России», как и в других произведениях, выражено представление о нации как о семье, во главе которой находится отец: «государь» как «отец среди семейства многочисленного»<sup>230</sup>. Главный принцип правления – патриархальный, «отеческий», поэтому как «отец семейства судит и наказывает без протокола, – так и монарх в иных случаях должен необходимо действовать по единой совести»<sup>231</sup>. Однако в противоположность панегирическим произведениям, в «Записке о древней и новой России» главным элементом в эмоциональном «управлении» субъектами

---

<sup>223</sup> Карамзин Н., *Записка о древней и новой России*, с. 17.

<sup>224</sup> Там же, с. 21.

<sup>225</sup> Там же, с. 37.

<sup>226</sup> Там же, с. 33.

<sup>227</sup> Там же, с. 103.

<sup>228</sup> Byrne W.F., “Burke’s Higher Romanticism: Politics and the Sublime”, *Humanitas*, Volume XIX, Nos. 1 and 2, 2006, p. 28-29.

<sup>229</sup> Ричард Пайпс, анализирувавший влияние идей Монтескье о политических системах на Карамзина, отмечает, что Монтескье деспотическое правление основывал на *страхе*, и что для Карамзина было крайне важно провести различие между деспотией и абсолютистским монархическим правлением. Главным отличием между ними, с точки зрения Карамзина, было то, что монарх в абсолютной монархии управляет с помощью законов (см.: Pipes R., “Karamzin’s Conception of the Monarchy”, p. 115-116). Как показывает анализ, у Карамзина тирания или деспотия характеризуется «ужасом», а «спасительный страх», наряду с принципом дружбы, является необходимым элементом в управлении обществом.

<sup>230</sup> Карамзин Н., *Записка о древней и новой России*, с. 17.

<sup>231</sup> Там же, с. 102.

становится не любовь, а страх, являющийся проявлением возвышенного: «В России государь есть живой закон: добрых милует, злых казнит, и любовь первых приобретается страхом последних. Не боятся государя – не боятся и закона!»<sup>232</sup>. Если в одах и в «Похвальном слове» наблюдалась тенденция к «смягчению» возвышенного, то здесь оно проявляется во всей его силе. Таким образом, прекрасные добродетели «человека на троне» (Александра I) оказываются недостаточно эффективными для эмоциональной «сцепки» сообщества по вертикали. Любовь же в выше приведенной цитате впервые зависит от страха, который становится «приоритетной» эмоцией в управлении сообществом.

На уровне отношений дворян/ крестьян, хотя их и объединяет любовь, дворяне при этом реализуют «отеческую» власть в отношении крестьян. Как монарх распространяет твердую власть на всех подданных, так и дворяне, коих обязанность «быть добрым помещиком»<sup>233</sup>, – на крестьян. В «Письме сельского жителя» крестьяне представлены как пассивный субъект, требующий власти над собой, поскольку без нее данная им свобода превратилась в «величайшее зло, то есть в волю лениться и предаваться гнусному пороку пьянства»<sup>234</sup>. Дворяне же являются теми, кто обладает отцовским патриархальным авторитетом и имеет «право требовать от [крестьян] работы»<sup>235</sup>, чтобы дать им «счастье».

Итак, можно сделать вывод, что в политических статьях Карамзина нация как эмоциональное сообщество конструируется, главным образом, посредством эмоций любви и страха. Мир, «спокойствие сердец», литература, установление социальных связей, любовь к монарху, его мягкость и чувствительность являются выражением прекрасного – того, что «могло бы быть». Однако для поддержания такого сообщества, основанного на любви, также необходимы сила и власть, являющиеся

---

<sup>232</sup> Там же.

<sup>233</sup> «Письмо сельского жителя», *Вестник Европы*, 1903, № 17, с. 59.

<sup>234</sup> Там же, с. 46.

<sup>235</sup> Там же, с. 58.

источником возвышенного, переживаемого как «спасительный страх». И если в «Похвальном слове» Россия представляется как «убежище» от происходящих в Европе изменений, в котором превалирует любовь между разными социальными стратами, то в политических статьях подчеркивается необходимость поддержания безопасности и стабильности этого «убежища» посредством «спасительного страха». Таким образом, утопический дискурс любви в политике неотделим от дискурса силы и страха (Карамзин с сожалением отмечал сложность примирения любви и силы). Похоже, что именно пересечение прекрасного и возвышенного конструирует в политических статьях мир, который, заимствуя определение Энтони Кросса, можно назвать «авторитарной Аркадией»<sup>236</sup> Карамзина.

### **Выводы**

*Пространство* России в политических статьях Карамзина представлено как часть европейского по признаку распространенности просвещения, понимаемого как развитие «вкуса» к литературе во всех социальных слоях, и противопоставляется «чужому» пространству, наделяемому значением «дикости» (Азии и европейским колониям). Другим важным аспектом ее пространства является его характеристика по признаку *стабильности/ нестабильности*: стабильность границ России придает ей большую политическую силу по сравнению с Европой. Значение пространства России также раскрывается в отношении к *мировому* пространству: его метафорическое освоение (пересечение океана, встреча с «экзотическими ужасами» природы) и преодоление опасностей конструирует возвышенный характер имперской власти. В границах же «своего» пространства живописный московский пейзаж актуализирует прекрасное как принцип социальности в конструировании нации как воображаемого сообщества.

---

<sup>236</sup> Кросс А., «Разновидности идиллии в творчестве Карамзина», перевод с англ. И.Б. Комаровой, XVIII век. Сб. 8. *Державин и Карамзин в литературном движении XVIII – начала XIX века*, с. 228.

В политических статьях на временной оси актуализируется *настоящее* (так же как и в панегирических жанрах), *покой* и *мир* которого противопоставляются «хаосу» Французской революции. Оно «направлено» не на разрыв с прошлым, а на его реставрацию и способствует актуализации прекрасного (установлению социальных и эмоциональных связей, как «внутри» нации, так и с «другими»). Русская нация характеризуется временем начала, коррелирующим с устремленностью в *будущее* («приятные надежды»), что указывает на ее потенциал к развитию по сравнению с «пресытившейся» Европой в целом.

*Эмоции* в политических статьях функционируют следующим образом: эмоции любви, ужаса и ненависти конструируют *аффективную границу* между странами-«соседями». При этом по способности вызывать ужас Россия, Англия и Франция как империи попадают в одно пространство. Любовь к просветительским ценностям объединяет Россию и Европу, но она же их и разъединяет (любовь к отечеству). Ненависть же между «просвещенными» (Англией и Францией) странами оценивается Карамзиным негативно.

Объединяемое эвфорическими эмоциями сообщество монарха и подданных, с одной стороны, описывается в терминах категории прекрасного, которая характеризует не реальное сообщество, а то, которое *могло бы быть*, что указывает на его утопичность. С другой стороны, важное значение в эмоциональной «сцепке» сообщества здесь, по сравнению с другими жанрами, придается страху и подчинению силе власти, что указывает на «работу» категории возвышенного, связанную с «*политическим реализмом*» Карамзина, наиболее ярко проявляющимся в «Записке о древней и новой России».

### III. ПОЭТИКА НАЦИИ В МАЛОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ

В этой части будут рассматриваться различные аспекты воображаемой нации в малых художественных прозаических произведениях Карамзина, действие которых происходит в России. Сначала будет показано, каким образом в исследуемых текстах структурируется *пространство*, и какие его аспекты значимы в поэтике нации. Затем будет проанализирована роль разъединяющих и объединяющих *эмоций* в конструировании нации как эмоционального сообщества. Следует отметить, что здесь, в отличие от других жанров, особое значение имеет социальная граница, разделяющая дворян/крестьян, а роль «Другого» в конструировании эмоционального сообщества не столь значительна. В завершение будет раскрыта роль *времени*, которое, наряду с пространством, имеет важное значение для характеристики воображаемого эмоционального сообщества. При анализе конститутивных элементов поэтики нации там, где это релевантно, будет раскрыта их связь с возвышенным и прекрасным, а также с имперской проблематикой.

#### **Пространство**

География в анализируемых произведениях малой прозы не отличается обширностью: она включает в себя Москву, Новгород, деревню в Симбирской губернии, реки Свиягу и Волгу, а также находящийся вблизи Москвы городок О. и безымянные деревни. Кроме того, в них упоминаются Лондон и Париж. В контексте поэтики нации особую роль играет не столько географическая реальность, сколько семиотические аспекты рассматриваемого пространства, которые определяются противопоставлением «своего» пространства «чужому». В границах же «своего» пространства особую роль играет соотношение пространства родины и империи.

В разделении «своего» и «чужого» пространства в таких текстах, как «Марфа-посадница» (1802), «Наталья, боярская дочь» (1792), «Бедная Лиза» (1792), главную роль играет **религиозный маркер**.

Так, хотя в «Марфе-посаднице» Псков, Новгород и Москва противопоставлены как конкурирующие между собой города, тем не менее, они объединяются понятием «земли русской», которое, в свою очередь, противопоставлено «врагам» «земли русской», а это – татары, литовцы и поляки. Татары и русские разделяются по религиозному признаку: нашествие татар приравнивается наказанию, налету «туч насекомых», которых небо посылает «во гневе своем»<sup>1</sup>, а одержанные над ними победы сравниваются с «воскресением земли русской», с наступлением «времени мести, времени славы и торжества христианского»<sup>2</sup>.

В «Наталье, боярской дочери» православная идентичность русских является признаком, отделяющим их от литовцев (равно как и «магометан»). В тексте русские воины прямо называются «православными», когда повествователь описывает, как «старцы и женщины» «идут в церковь молить бога, чтобы он отвратил грозную тучу от Русского царства и даровал победу православным воинам и рассеял сонмы литовские»<sup>3</sup>.

По религиозному признаку разделяется не только «свое» и «чужое» пространство, но и *прошлое* и *настоящее*. В «Наталье, боярской дочери» прошлое (картины «Москвы белокаменной») характеризуется религиозностью, выражающейся в многочисленных образах церквей: церковь, в которую Наталья ходит к обедне; маленькая церковь, в которой происходит венчание; храм, который она видит во сне; «блестящие главы церквей», на которые из леса смотрит Алексей. И.А. Поплавская считает церковь вообще «не только сюжетным, композиционным, пространственным и эмоциональным центром повести,

---

<sup>1</sup> Карамзин Н.М., *Избранные сочинения*, том 1, с. 684.

<sup>2</sup> Там же, с. 685.

<sup>3</sup> Там же, с. 656-657.

но и архетипом русской национальной жизни»<sup>4</sup>. «Блестящие главы церквей» также перекликаются с «золотыми куполами» в «Бедной Лизе», символизирующими «древнюю» Россию и ее православную идентичность<sup>5</sup>.

Особое значение церковной символики в «Наталье, боярской дочери» позволяет акцентировать роль церкви в повседневности «древней» России в противоположность «новой», что семантически перекликается с разрушенным Симоновым монастырем в «Бедной Лизе»: повествователь предвосхищает удивленную реакцию читателя на описание сборов Натальи с няней к обедне: «Всякий день?» – спросит читатель. Конечно, – таков был в старину обычай /.../»<sup>6</sup>.

Если в произведениях, действие в которых происходит в далеком прошлом, религиозный маркер отделяет «свое» пространство от «вражеского» ( «внешних» врагов), то в произведениях, в которых описывается недавнее относительно момента повествования прошлое («Фрол Силин, благодетельный человек» (1791), «Нежность дружбы в низком состоянии» (1793), «Бедная Лиза»), религиозный аспект характеризует оппозицию крестьян vs дворян, маркируя социальную дистанцию между ними, например, Фрол vs повествователь; мать Лизы vs Эраст.

«Свое» и «чужое» пространство противопоставляются не только по религиозному признаку, но и по признаку **просвещенности**. Это выражается в сравнении Европы и России как на пространственной, так и на временной осях.

В малой прозе, как и в политических статьях, пространство России по признаку просвещенности несомненно входит в европейское пространство, что наиболее заметно на приватном уровне семейных отношений. В «Приятных видах, надеждах и желаниях нынешнего

---

<sup>4</sup> Поплавская И.А., «“Наталья, боярская дочь” Н. М. Карамзина и А. И. Мещерского», в: *Карамзин и время*, с. 204.

<sup>5</sup> Шенле А., «Между “Древней” и “Новой” Россией: руины у раннего Карамзина как место modernity», с. 129.

<sup>6</sup> Карамзин Н.М., *Избранные сочинения*, том 1, с. 628.

времени» Карамзин пишет: «Англия есть, без сомнения, просвещеннейшая земля в Европе, и нигде люди не наслаждаются столько приятностями тихой домашней жизни, как в Англии»<sup>7</sup>. Просвещение выражается в том, что люди начинают ценить «домашнюю жизнь» в противоположность «ничтожным светским забавам» и «мотовству»<sup>8</sup>. При этом особую значимость в его осуществлении Карамзин видит в роли женщины<sup>9</sup>, приравнивая воспитание «долгу гражданина, обязанного в семействе своем образовать достойных сынов отечества»<sup>10</sup>.

Эта его мысль выражается в ряде текстов. Так, в «Евгении и Юлии» (1789) госпожа Л. и Евгений «реализуют» карамзинскую программу «истинного просвещения». Госпожа Л. становится прекрасной воспитательницей, а Евгений предпочитает «тихую» семейную жизнь городскому свету. Евгений после обучения в Европе, привез оттуда «приятнейшее из иностранных цветников» («множество французских, италийских, немецких книг»)<sup>11</sup> и как будто реализует цели издателя «Вестника Европы» (высказанные в «Письме к издателю»), который стремился с помощью литературы способствовать «нравственному образованию»<sup>12</sup> народа. В «Юлии» (1794) просвещение, понимаемое Карамзиным как способность ценить семейную жизнь, также реализуется в воспитании детей в деревне. Повествователь говорит: «Удовольствие счастливых супругов и родителей есть первое из всех земных удовольствий»<sup>13</sup>. Как Евгений, который получал образование в «чужих краях», так и Арис, «воспитывавшийся в чужих краях», возвращаются из них в город, но затем переселяются в деревню. Таким образом, исходящий из Европы вектор распространения просвещения достигает

---

<sup>7</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 12, с. 326.

<sup>8</sup> Там же, с. 326, 328.

<sup>9</sup> См.: Kahn A., *Nikolai Karamzin's discourses of Enlightenment*, p. 498-499.

<sup>10</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 12, с. 327.

<sup>11</sup> Карамзин Н., «Евгений и Юлия», *Детское чтение для сердца и разума*, часть XVIII, Москва: в Университетской Типографии, у Н. Новикова, 1789, с. 183.

<sup>12</sup> Карамзин Н., «Письмо к издателю», с. 6.

<sup>13</sup> Карамзин Н., *Сочинения Карамзина*, том 3, Санкт-Петербург: В типографии Карла Крайя, 1848, с. 68.

провинциального пространства, реализуясь на уровне семейных отношений.

В малой прозе по признаку просвещенности также противопоставляются *прошлое* и *настоящее*. Отсутствие просвещения в прошлом «приравнивается» к самобытности русского национального характера, а наличие просвещения в настоящем – к его «нивелированию». Так, в «Наталье, боярской дочери» прошлое, когда «русские были русскими», «в собственное свое платье наряжались», «жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу», противопоставляется концу XVIII века, «галло-альбионским нарядам, блистающим на московских красавицах»<sup>14</sup>. В «Рыцаре нашего времени» (1803) повествователь говорит, что «просвещение сближает свойства народов и людей, равняя их как деревья в саду регулярном», и с сожалением отмечает, что в провинциальных дворянах «не найти» теперь «характерного, особенного»<sup>15</sup>. Анализируя «Бедную Лизу» Шенле пишет об амбивалентном отношении Карамзина к европейскому просвещению<sup>16</sup>. Однако каким бы ни было отношение к нему повествователя (и автора), пространство России в художественных текстах представлено как часть европейского пространства, что доказывается уже самим фактом сожаления повествователя по поводу ушедших времен (в «Бедной Лизе») и изменившегося национального характера.

### **Как «воображается» родина**

Помимо разделения «своего» и «чужого» пространства по признаку просвещенности и религиозности, в художественной прозе Карамзина в рамках «своего» конкретизируется пространство *родины*. Прежде всего, обращает на себя внимание то, что оно локально (Москва в «Наталье, боярской дочери», провинция и место слияния Волги и Свияги в «Рыцаре нашего времени») и не тождественно пространству империи. В

---

<sup>14</sup> Карамзин Н., *Избранные сочинения*, том 1, с. 622.

<sup>15</sup> Там же, с. 769.

<sup>16</sup> Шенле А., «Между “древней” и “новой” Россией: руины у раннего Карамзина как место modernity», с 125-142.

«Рыцаре нашего времени» родина обладает не только пространственной характеристикой, но и не менее важной – временной: родина связана и с провинцией, и с топосом возвращения. Повествователь говорит, что «с удовольствием» вспоминает времена, когда «наши дворяне, взяв отставку, возвращались на свою родину с тем, чтобы уже никогда не расставаться с ее мирными пенатами; редко заглядывали в город; доживали век свой на свободе и в безопасности /.../»<sup>17</sup>. Временная перспектива выражается также посредством топоса детства: родина ассоциируется с детством, юностью, весной, с интимным пространством или «истинной Аркадией жизни»<sup>18</sup> (провинциальные дворяне возвращаются туда, где проходило их детство).

В «Рыцаре нашего времени» символом родины становится Волга. В описании реки важен не столько пространственный аспект, сколько ее эмоциональное восприятие Леоном, которое раскрывается преимущественно в терминах категории прекрасного. Автор рассказывает о том, как Леон в детстве ходил читать книги на берег Волги. В ее изображении акцентируется не величие, а «синее пространство», «белые парусы судов и лодок, /.../ станицы рыбаков»<sup>19</sup>. Воспоминания о Волге в дальнейшем у Леона всегда связаны с «радостным чувством»: Леон через двадцать лет «в кипении страстей, в пламенной деятельности сердца, не мог без особого *радостного* движения видеть большой реки»<sup>20</sup>; «Волга, родина и беспечная юность тотчас представлялись его воображению, трогали душу, извлекали *слезы*. Кто не испытал *нежной силы* подобных воспоминаний, тот не знает весьма *сладкого чувства*. Родина, апрель жизни, первые цветы весны душевной! Как вы милы всякому, кто рожден с любезною склонностью к меланхолии»<sup>21</sup>. Переживание родины входит в один ассоциативный ряд с «апрелем»,

---

<sup>17</sup> Карамзин Н., *Избранные сочинения*, том 1, с. 769.

<sup>18</sup> Там же, с. 758.

<sup>19</sup> Там же, с. 766.

<sup>20</sup> Там же.

<sup>21</sup> Там же, с. 767.

«цветами» и связано с *умилением*, или с удовольствием (симпатией), главным аффектом, на котором основывается переживание прекрасного.

На идею прекрасного в тексте указывает и эпитет «нежный», связывающий чувство к родине с чувством к женщине. Женщина является главным символом, олицетворяющим прекрасное в эстетике Берка, поскольку она обладает «утонченностью» и хрупкостью<sup>22</sup>. В употреблении эпитета «нежный» напрашивается параллель с Екатериной II: Карамзин в «Похвальном слове» часто подчеркивает ее нежность, особо притягивающую подданных и «чужеземцев»<sup>23</sup>. Можно сказать, что Екатерина II обладает «нежной силой», равно как и воспоминания о родине, связанные с категорией прекрасного, поскольку они основаны на удовольствии. Ассоциация усиливается тем, что в стихотворении «Волга» содержится прямой намек на Екатерину II: в противоположность прошлому, когда на реке «прежде обитали Орды Златые племена», теперь «одной державы народы в тишине живут и все одну богиню чтут»<sup>24</sup>, где «богиня», конечно же, символизирует императрицу. Параллель между чувством к родине и женщине еще более подчеркивается тем, что Леон показывает графине «с неописанным удовольствием» «любезные места своей родины»: «Часто садились они на высоком берегу Волги и Леон, под шум волн, засыпал на коленях нежной маменьки»<sup>25</sup>. Таким образом, Волга и родина метафорически наделяются женскими или «домашними», в терминологии Берка, характеристиками<sup>26</sup>.

На стихотворении «Волга» следует остановиться несколько подробнее. Если в малой прозе Волга символизирует родину, которая описывается в терминах категории прекрасного, то в стихотворении подчеркивается имперский аспект реки, связанный с функционированием категории возвышенного, хотя в нем также присутствует и прекрасное, которое выражается следующим образом: поэт «хвалит» «красу берегов

---

<sup>22</sup> Берк Э., *Философское исследование...*, с. 141-143.

<sup>23</sup> Карамзин Н., «Похвальное слово», с. 124-126.

<sup>24</sup> Карамзин Н., *Полное собрание стихотворений*, с. 118.

<sup>25</sup> Карамзин Н., *Избранные сочинения*, том 1, с. 780.

<sup>26</sup> Берк Э., *Философское исследование...*, с. 181.

[Волги]», «волнистые поля», «злато чистого песка», процветающие «грады, веси»<sup>27</sup>. Как и в «Рыцаре нашего времени», здесь восприятие красоты Волги связано с детскими воспоминаниями: лирический герой посвящает Волге первую «слезу» и «улыбку»<sup>28</sup>.

Однако в стихотворении образ «столь в благодати милой, прекрасной» реки резко контрастирует с ее «яростью» и «ужасностью»<sup>29</sup>, в которых выражается категория возвышенного. Как пишет Элай, ей придается значение своего рода «географического памятника международной важности»<sup>30</sup>. Река преимущественно воспринимается лирическим героем как источник возвышенного: в тексте подчеркивается ее «великость», она названа «царицей», «божеством», «священной в мире рекой»<sup>31</sup>, что «включает» ее в более широкий «мировой» контекст. «Великости зрелища» Волги – речной буре с «ужасным шумом, грозным ревом», «вихрями»<sup>32</sup> – соответствует имперское пространство: Волга символизирует Россию как империю, которую населяют «многие народы»<sup>33</sup>. Река, как пишет А. В. Петров, была «необходимой частью одического имперского дискурса, мифологизирующей деятельность российских монархов и вверенное им пространство»<sup>34</sup> в XVIII в. Связь возвышенного и империи подчеркивается еще и тем, что поэт обращается к Волге теми же словами, которые традиционно использовались в одах при обращении к императорам, являющихся источником возвышенного: «дерзну ли я на слабой лире/ Тебя, о Волга, величать»<sup>35</sup>. С похожей формулы обращения начинается «Похвальное слово»: «дерзаю говорить о

---

<sup>27</sup> Карамзин Н., *Полное собрание стихотворений*, с. 118.

<sup>28</sup> Там же, с. 119.

<sup>29</sup> Там же, с. 120.

<sup>30</sup> Ely Ch., *This Meager Nature...*, p. 35.

<sup>31</sup> Карамзин Н., *Полное собрание стихотворений*, с. 118-120.

<sup>32</sup> Там же, с. 119.

<sup>33</sup> Там же, с. 120.

<sup>34</sup> Петров А.В., «“Волжский хронотоп” в двух одах XVIII века (о путях разрушения нормативного художественного мышления)», в: *Духовная жизнь провинции. Образы. Символы. Картина мира: Материалы Всероссийской научной конференции (г. Ульяновск, 19-20 июля 2003 г.)*, Ульяновск: УлГТУ, с. 30.

<sup>35</sup> Карамзин Н., *Полное собрание стихотворений*, с. 118.

Екатерине – и величие предмета изумляет меня /.../»<sup>36</sup>. Поэт испытывает трепет перед имперским величием реки и связанной с ней историей России.

Вернемся к анализу пространства родины в художественной прозе Карамзина. Можно обнаружить интересную параллель между границами пространства родины в «Рыцаре нашего времени» и в «Наталье, боярской дочери». В «Наталье, боярской дочери» Любославский вынужден уйти «из пределов России» в страну, «где река Свияга вливается в величественную Волгу» (место рождения Леона)<sup>37</sup>. Сидя «на высоком берегу Волги» (на котором предстоит сидеть и Леону) Алексей и его воины, «/.../ смотря на ее волны, несущиеся от стран Российских, проливали жаркие слезы; всякая птица, летевшая с запада, казалась [им] милее; всякую птицу, летевшую на запад, провожали [они] глазами и – вздохами»<sup>38</sup>. «Горе об отечестве»<sup>39</sup> сопровождается слезами, а тоска мотивирована тем, что Любославский находится в изгнании, в окружении «суеверных» народов. Так, из пространства родины, коррелирующей с православной идентичностью, исключаются «суеверные». Характерно то, что если во времена Алексея Михайловича («Наталья, боярская дочь») этот регион воспринимался как «чужое» пространство, населенное мусульманскими народами, то в «Рыцаре нашего времени» эта же территория воспринимается Леоном уже как часть родины или «своего» пространства, отделенная от «чужого» по религиозному признаку.

Любовь к родине представляет собой пример *физической* любви к «отечеству», о которой говорит Карамзин в статье «О любви к отечеству и народной гордости»: «Родина мила сердцу не местными красотами, не ясным небом, не приятным климатом, а *пленительными*

---

<sup>36</sup> Карамзин Н., *Сочинения Карамзина*, том 8, с. 5.

<sup>37</sup> А.С. Янушкевич отмечает важность лейтмотива реки в «Рыцаре нашего времени» и связь ее образа с жизнью и временем: Леон родился там, где умер в изгнании отец Алексея Любославского. Тем самым как бы осуществляется связь поколений (см.: Янушкевич А.С., «Роман Н.М. Карамзина “Рыцарь нашего времени”: текст и контекст», с. 73).

<sup>38</sup> Карамзин Н., *Избранные сочинения*, том 1, с. 646.

<sup>39</sup> Там же.

*воспоминаниями*»<sup>40</sup>. Она является самой простой в карамзинской иерархии типов любви к отечеству. Физическая любовь, характеризующаяся произвольностью влечения, иррациональностью – это еще не «патриотизм», «требующий рассуждения» (с точки зрения, Карамзина), но своего рода первичный материал для него. Действительно, как уже говорилось, в любви к родине выделяются значения «плена» и «власти» над субъектом. В анализируемых произведениях родина связана не только с пространственным измерением, но и с временным, представляя собой своеобразную фигуру утраты, характеризующуюся меланхоличностью и выражающуюся в «сладком чувстве» и «слезах». Родина актуализируется не через непосредственный опыт, но доступна только в воспоминании или в воображении.

Таким образом, в малой прозе родина не тождественна империи, прежде всего, ввиду несопоставимости их масштабов (универсальность и локальность), что было показано на примере Волги, которая из имперской реки мирового масштаба «миниатюризируется», становясь частью» родины. В конструировании родины, помимо пространственного аспекта – ее компактности, замкнутости, ограниченности от внешнего мира (родина детства Леона) – важное значение имеет и временной: родина связана с воспоминаниями, со «сладостью», интимностью, детством, прошлым. При этом ее восприятие (Любославский, Леон) раскрывается через парадигму прекрасного. Можно сказать, что пространство родины в малой прозе Карамзина соответствует более локальному, конкретному, личностному опыту ее переживания, а также более «эксклюзивному» воображаемому сообществу, «ограниченному» православной идентичностью.

---

<sup>40</sup> *Вестник Европы*, 1802, № 4, с. 56.

### **Москва: роль категорий возвышенного и прекрасного в ее «воображении»**

Как упоминалось во введении, Андреас Шенле, анализируя «Бедную Лизу», писал об амбивалентном образе Москвы (в связи с проблематикой «древней» vs «новой» России)<sup>41</sup>, в котором, с одной стороны, подчеркивается ее религиозная идентичность, а с другой – акцентируется ее имперская «ипостась», маркируемая эпитетом «алчная». Он отмечает, что амбивалентность проявляется не только в описании города, но и на уровне двойственного отношения повествователя к России. Шенле обращает внимание на функционирование категории возвышенного в экспозиции «Бедной Лизы», когда повествователь описывает свои впечатления от «великолепной картины» города и «ужасной громады домов и церквей»<sup>42</sup>. Главным признаком переживания возвышенного, по мнению Шенле, является «колебание между позитивными и негативными характеристиками, между чувствами великолепия и ужаса»<sup>43</sup>, что выражается в неспособности повествователя разрешить конфликт между двумя точками зрения на Россию: как на «традиционалистскую страну» с «отказом от всего мирского» и как на империю, ориентированную на экономическое расширение<sup>44</sup>. Такая неопределенность, с его точки зрения, является признаком “modernity”<sup>45</sup>.

Далее будет показано, что возвышенное проявляется не только в переживаниях повествователя – оно также является важным аспектом имперского образа Москвы. Перед тем как перейти к анализу роли категории возвышенного в образе Москвы в «Бедной Лизе», рассмотрим некоторые особенности ее образа в других произведениях.

Например, в «Наталье, боярской дочери» в восприятии Москвы Натальей акцентируется парадигма живописного, совмещающая в себе аспекты возвышенного и прекрасного. Вот описание того, как она видит

---

<sup>41</sup> Шенле А., «Между “древней” и “новой” Россией: руины у раннего Карамзина как место “modernity”», с. 129.

<sup>42</sup> Там же.

<sup>43</sup> Там же.

<sup>44</sup> Там же.

<sup>45</sup> Там же, с. 130.

Москву: с одной стороны – «/.../ мрачная, густая, необозримая Марьиная роща, которая, как сизый, кудрявый дым, терялась от глаз в неизмеримом отдалении и где жили тогда все дикие звери севера /.../», а с другой – «/.../ сверкающие изгибы Москвы-реки, цветущие поля и дымящиеся деревни, откуда с веселыми песнями выезжали трудолюбивые поселяне на работы свои /.../»<sup>46</sup>. Здесь компонентом возвышенного является «необозримость» и «неизмеримость» Марьиной рощи, а прекрасное выражается через цветовое разнообразие («цветущие поля», «сверкающие изгибы») и веселье («веселые поселяне»). Характерно, что в ее восприятии Москвы преобладает эмоциональная реакция на прекрасное. Наталья с «тихой радостью» «в сердце»<sup>47</sup> восклицает: «Как хороша Москва белокаменная! Как хороши ее окружности!»<sup>48</sup>. В этом пассаже (как и во всем тексте) отсутствует намек на «ужас» или «страх», характерные реакции на возвышенное.

В реакции Любославского, увидевшего Москву после длительного отсутствия, также акцентируется переживание прекрасного: при взгляде на «блестящие главы церквей, народное множество /.../ радостные слезы сверкнули в глазах [его]»<sup>49</sup>. Виду Москвы сопутствуют воспоминания о «золотых днях младенчества, днях невинности и забавы, проведенных [им] в русской столице», которые сравниваются с «веселым сновидением»<sup>50</sup>. Таким образом, в переживании прекрасного артикулируется цвет («блестящие купола» и «золотые дни»), положительные эмоции («радость», «веселое сновидение», «забавы»), а также религиозная составляющая города. Для такого типа переживания характерен не столько восторг, сколько умиление, что связано с наложением на восприятие города временной перспективы (воспоминания о детстве). А временной аспект (дистанция), как было показано, характерен для

---

<sup>46</sup> Карамзин Н. М., *Избранные сочинения*, том 1, с. 627.

<sup>47</sup> Там же.

<sup>48</sup> Там же, с. 627.

<sup>49</sup> Там же, с. 647.

<sup>50</sup> Там же.

семантики родины («Рыцарь нашего времени») и позволяет переживать ее как нечто прекрасное.

Описание пространства Москвы занимает важное место и в «Нежности дружбы в низком состоянии», в котором также выражена его религиозная составляющая. Временно живущие у «тетки» в Москве, жительницы маленького провинциального городка О., Анюта и Маша выходят в город только для того, чтобы посетить собор (в Троицын праздник). Но в их восприятии столицы присутствуют и значения «чуждости» и «чуждости» ее огромного пространства по сравнению с привычным маленьким городком О.: Анюта говорит Маше, которой «все казалось чудно», чтобы та «ни на что не заглядывалась, и не очень дивилась», чтобы окружающие не «называли ее деревенскою»<sup>51</sup>. Москва контрастирует с городком О. прежде всего несопоставимо большими размерами своих объектов – «высоких каменных башен», «большого колокола», «страшной пушки»<sup>52</sup> – громадность которых является причиной их «чуждости» и вызывает удивление, являющееся одной из возможных реакций на возвышенное<sup>53</sup>. Здесь высота московских башен семантически перекликается с «громадой домов» в «Бедной Лизе», указывая на потенциальную опасность, которую может таить в себе город по отношению к «поселянам». В рассказе проявляется «негативный» («чуждый») аспект Москвы, связанный с переживанием города как источника возвышенного.

В «Марфе-посаднице» в описании древнего Новгорода (как и Москвы в «Наталье, боярской дочери») религиозный аспект пространства города связан с выражением категории прекрасного, проявляющейся через акцентирование «красоты» православной религии («золотые кресты великолепных храмов святой веры») и «красоты зданий»<sup>54</sup>. Однако в нем присутствует и парадигма возвышенного, которая в данном случае

---

<sup>51</sup> Карамзин Н., *Сочинения Карамзина*, том 3, с. 408.

<sup>52</sup> Там же.

<sup>53</sup> Берк Э., *Философское исследование...*, с. 88.

<sup>54</sup> Карамзин Н., *Избранные сочинения*, том 1, с. 684.

наделена не «негативным», а «позитивным» качеством. Марфа говорит: «Великая Ганза гордится нашим союзом; чужеземные гости ищут дружбы нашей, удивляются славе великого града /.../»; они говорят: «Мы видели Новгород, и ничего подобного ему не видали!»<sup>55</sup>. Если «великость»/«величие» Новгорода действует так, что иноземные гости «ищут дружбы с ним», а их реакцией на него является восхищение, то «громадность» Москвы в «Бедной Лизе» подавляет повествователя. Так, «позитивное» возвышенное Новгорода контрастирует с «негативной» возвышенностью Москвы.

Если прекрасное выражается через религиозный аспект Москвы («Наталья, боярская дочь»), проявляясь в эмоциональном отношении персонажей к Москве как к родине и месту детства, и характеризует город, существовавший в прошлом, то возвышенное («Нежность дружбы в низком состоянии») связано с восприятием Москвы в настоящем как пространства в большей или меньшей степени «чужого».

В «Бедной Лизе» повествователь воспринимает Москву как источник возвышенного, когда видит город отстраненно, как не «свой», «перейдя» в другое пространство. Не случайно он смотрит на нее с холма: выйдя из города, он оказывается способным воспринимать его «отчуждающую» сторону. Возвышенное, как будет показано ниже, прямым образом связано с проблематикой конструирования имперского характера Москвы. Эту связь позволит раскрыть сравнение Москвы с изображением Парижа и Лондона в «Письмах русского путешественника».

Возвышенная парадигма Москвы выражается через семантику *ужасного* и *величественного* в следующем описании: «Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную *громadu* домов и церквей, которая представляется глазам в образе *величественного амфитеатра*: *великолепная* картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на *бесчисленных*

---

<sup>55</sup> Там же, с. 689.

златых куполах, на *бесчисленных* крестах /.../»<sup>56</sup>. Панорама разворачивается с горы, на которой расположены «*мрачные, готические* башни Си...нова монастыря». Переживание «ужасности» еще более подчеркивается «*страшным* воем ветра в стенах опустевшего монастыря»<sup>57</sup>.

Сравним это описание Москвы с тем, как Карамзин описывает Париж и Лондон, открывающиеся впервые его взгляду. Подъезжая к Парижу, Карамзин видит город во всю длину «*обширной* равнины», «взоры [его и попутчиков] устремились на сию *необозримую громаду* зданий — и терялись в ее густых тенях»<sup>58</sup>. В Париже его захватывают различные впечатления: «Сей *неописуемый* шум, сие *чудное* разнообразие предметов, сие *чрезвычайное* многолюдство, сия необыкновенная живость в народе привели [его] в некоторое *изумление*», в результате чего он почувствовал себя как «маленькая песчинка» в «ужасной пучине»<sup>59</sup>.

При въезде в Лондон, Карамзин видит «купол церкви св. Павла», который «*гигантски* превышал все другие здания», «Вестминстерское аббатство, древнее *готическое* здание», «сверкающую Темзу, где возвышались бесчисленные корабельные мачты, подобно лесу, опаленному молниями»<sup>60</sup>. Вид Лондона, как и Парижа, поражает путешественника: спускаясь с горы, Карамзин «смотря на *величественный* город, на его окрестности и на большую дорогу, /.../ *забыл* все. Если бы товарищи не хватились [его], то [он] остался бы один на горе и пошел бы в Лондон пешком»<sup>61</sup>.

В обоих случаях для Карамзина город, поражающий своей «громадностью», «величием», слуховыми и зрительными впечатлениями, становится источником переживания возвышенного. «*Необозримые громады* зданий», «*бесчисленные* корабельные мачты» принадлежат к

---

<sup>56</sup> Карамзин Н., *Избранные сочинения*, том 1, с. 605

<sup>57</sup> Там же, с. 606.

<sup>58</sup> Там же, с. 366.

<sup>59</sup> Там же, с. 367.

<sup>60</sup> Там же, с. 519.

<sup>61</sup> Там же.

классу «бесконечности» по Берку, поскольку глаз не может охватить их целиком. Шум толпы или громкие звуки также относятся к возвышенному и, как пишет Берк, способны так поражать воображение, что человек едва может «удержаться от того, чтобы не присоединиться к общему /.../ настроению толпы»<sup>62</sup>. И, действительно, повествователь теряется в ней как «песчинка», оказываясь не в состоянии контролировать свои впечатления.

Оба города захватывают его как эстетический феномен, однако политический элемент здесь также присутствует. Впечатления Карамзина опосредуются уже имеющимися у него политическими и культурными представлениями: они (города) – «два Фароса [его] путешествия»<sup>63</sup>, к которому он заранее готовится. Для повествователя Лондон и Париж являются источниками возвышенного в том числе и потому, что его переживания во многом определяются представлениями о Лондоне как «первой пристани в свете, средоточии всемирной торговли!»<sup>64</sup> и Париже как «образце всей Европы», имя которого «с благоговением» произносится во всем мире – «Европе и в Азии, в Америке и в Африке»<sup>65</sup>. А благоговение, как пишет Берк, представляет собой один из «эффектов возвышенного»<sup>66</sup>.

Таким образом, «ужасная громада» Москвы как имперского города семантически попадает в одно поле с «громадностью» Лондона и Парижа, центрами двух европейских империй, тем самым разделяя с ними качество «имперскости» (идея силы, универсальности, масштабности влияния и воздействия). Эта коннотация усиливается и сравнением вида Москвы с «величественным амфитеатром» (причем «амфитеатр» выделен в тексте курсивом), что служит намеренной или ненамеренной аллюзией на древнеримский амфитеатр, один из символов

---

<sup>62</sup> Берк Э., *Философское исследование...*, с. 112.

<sup>63</sup> Карамзин Н., *Избранные сочинения*, том 1, с. 520.

<sup>64</sup> Там же.

<sup>65</sup> Там же, с. 366.

<sup>66</sup> Берк Э., *Указ. соч.*, с. 88.

империи, за которым, соответственно, просвечивает метафора Москвы как третьего Рима.

Гитта Хаммарберг, желая показать, каким образом начало «Бедной Лизы» предвосхищает дальнейшее развитие сюжета повествования, отметила интересную смысловую переключку между «ужасной громадой домов и церковей» Москвы и «величественной каретой» и «огромным домом» ее жителя Эраста, а также между «алчной» Москвой и золотыми империями, которые он дарит Лизе, и тем, что Эраст плывет в лодке к Лизе по той же реке, по которой «грузные струги» плывут в «алчную» Москву<sup>67</sup>.

«Алчность» Москвы, в свою очередь, связана с мотивом богатства и торговли, которые являются важными характеристиками и Лондона, и Парижа. Как на прилавки Парижа стекаются богатства со всех стран мира (включая французские колонии), так и из «плодоноснейших стран Российской империи» – в Москву. Как в Лондон богатства «плывут» по Темзе, так и в Москву – по реке. Поэтому по признаку «поглощения богатств» Москва попадает в одну парадигму с Лондоном и Парижем.

Следует отметить, что источником возвышенного является как «громадность» городов, так и их «богатства». При этом реакция на богатство двух столиц мира и «богатство» Москвы у повествователя отличается. Например, в Пале-Рояль путешественник следующим образом описывает свои впечатления: «Вообразите себе *великолепный* квадратный замок и внизу его аркады, под которыми в бесчисленных лавках *сияют все сокровища света*, богатства Индии и Америки, алмазы и диаманты, серебро и золото; все произведения природы и искусства; все, чем когда-нибудь царская пышность украшалась; все, изобретенное роскошью для услаждения жизни!.. И все это для привлечения глаз разложено прекраснейшим образом и освещено *яркими, разноцветными*

---

<sup>67</sup> Hammarberg G., *From the idyll to the novel...*, p. 148.

огнями, *ослепляющими зрение*»<sup>68</sup>. Не только из-за блеска, но и из-за шума и огромного количества людей у путешественника «закружилась голова», так что он вынужден был «уйти из галереи и сесть отдыхать в каштановой аллее»<sup>69</sup>. В Париже и Лондоне торговля/ богатство становится источником возвышенного на разных уровнях: в этом участвует и свет («блеск», «сияние товаров»), и цвет («разноцветные огни»), и звук («шум»), и «непрерывность и единообразие»<sup>70</sup> («бесчисленные корабельные мачты»), а также идея о Лондоне как «средоточии всемирной торговли» и о Париже, представляющем «все богатства света». Характерная реакция повествователя на все это разнообразие – «головокружение» и «забывание себя». Однако если повествователь от первых лондонских и парижских впечатлений и чувствует себя как «песчинка» в «ужасной пучине», то он не испытывает при этом меланхолии, как в «Бедной Лизе». Если Лондон и Париж – это «чужое», связанное с приключениями, пространство, то Москва – это город, являющийся «своим» культурным пространством, одно из качеств которого (алчность) становится причиной его «саморазрушения» (прошлое, традиции). Именно поэтому переживание Москвы как «алчной» вызывает у него меланхолическое состояние.

Шенле, отмечая, что Карамзин описывает свои впечатления от Москвы в терминах возвышенного, пишет, что Карамзин «дистанцируется от проблемы политического и идеологического статуса древней столицы, воспринимая город как чисто эстетический феномен. Колебание между позитивной и негативной характеристиками, между чувствами великолепия и ужаса — свидетельство невозможности оперировать оценочными категориями, неременная составляющая переживания возвышенного зрелища»<sup>71</sup>. Однако сравнение с Лондоном и Парижем показывает, что политический момент, выражающийся в

---

<sup>68</sup> Там же, с. 369.

<sup>69</sup> Там же.

<sup>70</sup> Берк Э., *Философское исследование...*, с. 104.

<sup>71</sup> Шенле А., «Между “древней” и “новой” Россией: руины у раннего Карамзина как место “modernity”», с. 129.

оценочности, здесь все же присутствует – на его наличие указывает эпитет «алчный», являющийся оценочной категорией.

Ужас может пониматься двояко. Как показал анализ карамзинских политических статей и од, зачастую он не только представляет собой эстетическое переживание, но и тонким образом связан с особенностями восприятия властных отношений между субъектами. В «Бедной Лизе» именно качество «ужасности» указывает на опасность, которую «новая» имперская Россия (если использовать выражение Шенле) представляет для «старой». Это подчеркивается описанием разрушенного монастыря, приведенного после описания панорамы Москвы где рассказчик «внимает глухому стону времен»<sup>72</sup>. Здесь ужас не является только лишь эстетическим переживанием, так как описываемые повествователем впечатления от Москвы испытываются им, по всей видимости, неоднократно (повествователь хорошо знаком с окрестностями Москвы: «никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города»<sup>73</sup> как он, рассказчик, который «часто приходит на сие место»<sup>74</sup>) и отчасти обусловлены его размышлениями об истории России. Таким образом, «ужасность» в «Бедной Лизе» связана и с определенной реакцией на властные отношения, оценкой «политического статуса» столицы и так же, как и в политических статьях, будучи составным элементом переживания возвышенного, характеризует Россию как империю.

Можно сделать вывод, что специфика пространства в малой прозе определяется не только смысловыми культурными оппозициями (например, просвещенность vs дикость), но также, в известной степени, и эмоциональным его восприятием повествователем/ персонажем. Если в переживании родины задействуется прекрасное (выражающееся посредством умиления, нежности и слез) то в переживании империи преобладает возвышенное (восторг, ужас). Эмоциональное переживание

---

<sup>72</sup> Карамзин Н., *Избранные сочинения*, том 1, с. 606.

<sup>73</sup> Там же, с. 605.

<sup>74</sup> Там же, с. 606.

пространства подводит к необходимости рассмотреть функцию и значение эмоций в конструировании нации как эмоционального сообщества.

### **Эмоциональное сообщество и его аффективная граница**

Особенности конструирования эмоционального сообщества будут анализироваться следующим образом. Сначала будет показано, как конструируется аффективная граница между русским и другими народами, а затем, каким образом эмоции объединяют субъектов, принадлежащих к разным социальным стратам русского сообщества, на уровне царь – подданные (в целом) и дворяне – крестьяне. Представляется, что эмоции являются одним из конститутивных элементов *традиционного* сообщества в текстах Карамзина, а их отсутствие свидетельствует о наличии более современного по отношению к нему *модерного* сообщества. Важную роль в понимании специфики эмоций в текстах Карамзина играют категории возвышенного и прекрасного.

В малой художественной прозе Карамзина аффективную границу между народами конструируют негативные эмоции, выполняющие функцию разделения «своих» и «врагов» (поляков, литовцев и татаро-монголов). Эмоцией, которая их разделяет, является ненависть. В «Марфе-посаднице» Марфа говорит послу польского короля Казимира: «Так, Марфа любима народом своим, но она велит ему ненавидеть Литву и Польшу»<sup>75</sup>. Литва и Польша семантически попадают в одну категорию врагов вместе с татаро-монголами, которые характеризуются животной метафорой: хан Батый в «Марфе-посаднице» сравнивается с «яростным львом», его желание мести – со «злобным удовольствием»; он готов «растерзать» русских<sup>76</sup>. «Лютость», «свирепость» и «ярость»

---

<sup>75</sup> Там же, с. 705.

<sup>76</sup> Там же, с. 690.

метафорически подчеркивают «животные» качества всех трех субъектов: поляк – «хитрый»<sup>77</sup>, «надменный»<sup>78</sup>, «лютый враг»<sup>79</sup>; литовцы – «свирепые», «восстали на русское царство» («Наталья, боярская дочь»)<sup>80</sup>; «свирепые татары и литовцы огнем и мечем опустошали окрестности российской столицы»<sup>81</sup> («Бедная Лиза»). Та же «стратегия» объединения поляков и татар в одну «катеорию» (сема «животности»), как было показано, присутствует и в «Похвальном слове». Животный аспект актуализирует представление о телесности «терзаемой» России, об ужасе и физической боли, а аффективная граница между Россией и «врагами» переживается русскими как угроза ее телу («растерзание»). Эпитет «лютый», неизменно связываемый с негативной оценкой, является одним из самых сильных определений в политическом словаре Карамзина.

«Соседи» переживают эту границу главным образом как *ужасную*. В «Марфе-посаднице» «ужасность» границы указывает на присутствие возвышенного, которое косвенно характеризует и самодержавное правление. Так в речи Холмского выстраиваются следующие оппозиции: дикие народы/ «любовь к независимости»/ «гибельная вольность» vs мудрые народы/ «любовь к порядку»/ «спасительная власть единого». Далее эти оппозиции связываются с возвышенным, которое выражается через *ужас* и *величие*. Обращаясь к новгородцам, Холмский произносит слова: «Прежде *ужасные* только для самих себя и несчастные в глазах соседей, новгородцы под *державною* рукою варяжского героя сделались *ужасом* и завистию других народов; и когда Олег храбрый двинулся с воинством к пределам юга, все племена славянские *покорялись* ему с радостью, и предки ваши, товарищи его славы, едва верили своему *величию*»<sup>82</sup>.

---

<sup>77</sup> Там же, с. 704.

<sup>78</sup> Там же, с. 685.

<sup>79</sup> Там же, с. 705.

<sup>80</sup> Там же, с. 655.

<sup>81</sup> Там же, с. 606.

<sup>82</sup> Там же, с. 683.

Здесь ужас выполняет как позитивную, так и негативную функцию. В случае, когда новгородцы подчиняются «державной руке», он позитивен, так как становится источником переживания возвышенного соседями, «подчиняя» их новгородцам. Ужас же, порожденный независимостью новгородцев, связан с негативными коннотациями, так как включает в себя сему «животности» («ужасные для самих себя» из-за «лютейших междоусобиц»)<sup>83</sup>. Позитивный ужас обладает «притягательной» силой: он вызывает «зависть» у соседей и «притягивает» родственные племена, которые повинуются новгородцам «с радостью». Сила, основанная на самодержавной власти, будучи источником возвышенного, противопоставляется «ужасу» независимого состояния и наделяется харизмой, которой народ легко подчиняется. Например, Марфа в обращении к новгородцам говорит: «Народ, изумленный его [Рюрика] величием, невольно и смиренно повиновался»<sup>84</sup>. Таким образом, переживание новгородцев как «ужасных» «другими» наделяется позитивным значением так же, как в политических статьях переживание «ужасности» России соседями. В целом же, в произведениях с историческим колоритом в конструировании аффективной границы между народами преобладают негативные эмоции.

После того как было показано, каким образом конструируется аффективная граница между «своими» и «другими», следует задаться вопросом, каким образом конструируется нация как эмоциональное сообщество не по отношению к «другому», а «изнутри» с учетом ее внутренней социальной стратификации. Аффективное сообщество в художественной прозе, как и в одах, риторически объединяется такими эмоциями как *любовь, радость, сострадание*, на переживание которых указывают *слезы*. Оно описывается при помощи метафоры сообщества как семьи во главе с отцом (следует отметить, что в конструировании сообщества, которое не описывается метафорой семьи, как будет

---

<sup>83</sup> Как было показано выше, «лютей» стоит в одном ряду со «свирепостью», «яростью», которые соотносятся с образом животного.

<sup>84</sup> Там же, с. 688.

показано далее, эмоции играют гораздо меньшую роль). Как говорит Альберто Банти, «сила представления о нации как о семье/ отцовстве кроется в том факте, что оно уменьшает абстрактность идеи о нации и взамен дает простую и наглядную понятность»<sup>85</sup>. Представляется, что в рассматриваемых текстах эмоции как раз и позволяют «наглядным» образом артикулировать то, каким образом в воображении автора «переживается» нация.

В малой прозе Карамзина субъекты «по обе стороны» власти, монарх и подданные, дворяне и крестьяне, повествователь и читатели, конструируются как «чувствительные», способные к переживанию любви, что характерно для «семейной» модели сообщества, предполагающей более тесные и непосредственные отношения между его членами<sup>86</sup>. Например, в «Наталье, боярской дочери» важное значение имеет образ дома и семьи. И. А. Поплавская отмечает его идилличность, выражающуюся в параллелях между домом боярина Матвея и «славным Русским царством», между семьей Натальи и Алексея и «всеми русскими людьми», объединенными под властью государя, «отца народного»<sup>87</sup>.

В нации как семье особенно важна фигура отца/ царя. Царь, являясь носителем высшей власти, восстанавливает порядок и нарушенную гармонию или справедливость, в чем проявляется осуществление возвышенного (справедливость как «величественная» или «мужская» добродетель). Например, Наталья, совершившая побег, и Алексей, сын опального боярина, на которого были возведены ложные подозрения, оказываются «вне закона». Для легитимации их отношений важно прощение Алексея царем («заслужить милость царскую») и Натальи – ее отцом. Для того чтобы получить прощение, они должны совершить подвиг – «спасти» Россию от литовцев. В итоге они получают

---

<sup>85</sup> Banti A.M., “Deep Images in Nineteenth-Century Nationalist Narrative”, *HISTOREIN: a review of the Past and Other Stories*, 2008, vol. 8, p. 55.

<sup>86</sup> См.: Neal W., “The Aesthetic Dimension of Burke’s Political Thought”, p. 49-50.

<sup>87</sup> Поплавская И.А., «“Наталья, боярская дочь” Н.М. Карамзина и А.И. Мещерского», с. 195.

прощение и от царя, и от боярина Матвея, и нарушенный порядок отношений восстанавливается.

Помимо поддержания порядка царь участвует и в циркуляции эвфорических (положительных) эмоций, поддерживающих аффективную «склейку» сообщества, которое в основном описывается в терминах категории прекрасного. Она выражается через доброту, чувствительность, сочувствие персонажей, то есть через качества, относящиеся к прекрасным добродетелям, с точки зрения Берка<sup>88</sup>. Так, изображение царя как «доброего» и «чувствительного» зеркально отражается в отце Натальи – «добром, чувствительном, нежном старце»<sup>89</sup>. Мягкие добродетели подчеркиваются не только в царе, но и в Алексее, которого Наталья называет «прелестным юношей», «милым красавцем»<sup>90</sup>. Подданные также наделяются чувствительностью: во время сцены «узнавания» Алексея и Натальи воинство «пребывает в тишине и молчании», Наталья льет «теплые ручьи слез», «государь /.../ тронут сердечно» и делает Алексея своим «другом, первым по боярине Матвее»<sup>91</sup>.

Таким образом, в тексте создается эмоциональное сообщество, объединяющее царя-отца, подданных и конкретную семью: «супруги жили счастливо и пользовались особой царской милостию»<sup>92</sup>. Отношения между монархом и подданными определяются не законом и разумом, а чувством, совестью и дружбой. Подвиг Алексея «трогает сердечно» царя, «ручьи слез» скрепляют узы так же, как «слезы» скрепляют отношения членов сообщества в одах или «Похвальном слове».

Категория прекрасного, основанная на аффекте, направленном на общение, выражается и в «Марфе-посаднице» посредством эмоции *радости*: например, после победы над новгородцами перед Иоанном «все славные воеводы московские, преклонив колена, слезами изъявляли

---

<sup>88</sup> Neal W., "The Aesthetic Dimension of Burke's Political Thought", p. 173.

<sup>89</sup> Карамзин Н., *Избранные сочинения*, том 1, с. 640.

<sup>90</sup> Там же, с. 633.

<sup>91</sup> Там же, с. 659.

<sup>92</sup> Там же, с. 660.

радость свою»<sup>93</sup>; Иоанн «взирал на граждан с любовью»<sup>94</sup>. В конце повести *любовь* Иоанна риторически объединяет враждующих новгородцев и москвичей. При этом на первый план выходит прекрасное, выражающееся в любви, – «великий государь русский победил русских: любовь отца-монарха сияла в очах его»<sup>95</sup>. Образ любящего монарха противопоставляется образу грозного монарха, вызывающего страх: в тексте подчеркивается, что Иоанн – не «грозный чужеземный завоеватель». Возвышенные добродетели монарха смягчаются прекрасными (исключение составляет только образ Марфы, в которой, наоборот, подчеркиваются возвышенные добродетели: «мудрая», «великодушная», «смелая»)<sup>96</sup>. Противопоставление Иоанна «грозному завоевателю» важно, так как оно артикулирует противопоставление общества, основанного на подчинении силе, обществу, основанному на любви.

Таким образом, как и в панегирических жанрах, в некоторых произведениях малой прозы в конструировании внутренних связей в эмоциональном сообществе акцентируются эвфорические эмоции, а дискурс возвышенных добродетелей (могущественность, демиургичность царей и героев) отходит на второй план.

Следует отметить, что эмоциональное сообщество конструируется не только на уровне монарха – подданных, но и на уровне *дворян – крестьян*, которых также объединяет любовь, чувствительность и сострадание. Однако объединяющие эмоции в этих двух случаях проявляются несколько по-разному. При этом возникает вопрос о том, преодолевает ли любовь социальную границу между дворянами и крестьянами. Постановку такого вопроса обусловливает следующее соображение.

---

<sup>93</sup> Там же, с. 725.

<sup>94</sup> Там же, с. 727.

<sup>95</sup> Там же, с. 724.

<sup>96</sup> Там же, с. 694.

Виктор Живов, исследуя связь между сентиментализмом и русским национализмом, замечает, что, «несмотря на классовые предубеждения, сентиментализм все же стирал – риторически – границы между социальными стратами», и эта функция сентиментализма, с его точки зрения, проявлялась ярче в России, чем в Англии или во Франции. Далее он отмечает, что «в этом отношении сентиментализм также подготавливал почву для национализма» в том смысле что, если «для сентиментализма риторическое стирание социальных граней было не столько целью, сколько эпифеноменом, то националистический дискурс требовал концептуализации общества как органического единства: национальная идентичность релятивировала идентичность социальную»<sup>97</sup>. Живов рассматривает функцию сентименталистской литературы *в целом* по отношению к *идеям* о нации, то есть к стратегии аргументации (у Карамзина и Ростопчина) того, кто и как вписывается/ не вписывается в тело нации (проблема европеизированной элиты и крестьян). Представляется интересным обратиться не к совокупности идей Карамзина, а к самим художественным текстам и посмотреть, как в них выстраиваются эмоциональные отношения между дворянами и крестьянами.

Отношения дворян и крестьян в малой художественной прозе Карамзина описываются, но не проблематизируются (за исключением «Бедной Лизы», в которой попытка союза между разными социальными стратами кончается крахом, хотя «риторически» они и сближаются – крестьяне наделяются способностью любить так же, как и дворяне). Крестьяне появляются как эпизодические персонажи в «Деревне» (1792), «Евгении и Юлии», «Наталье, боярской дочери» и как главные действующие лица в «Нежности дружбы в низком состоянии» и во «Фроле Силине».

В «Евгении и Юлии» гармония и любовь между тремя представителями – как можно предположить – дворянского сословия,

---

<sup>97</sup> Живов В., «Чувствительный национализм...», с. 122.

госпожой Л., ее приемной дочерью и сыном, соответствуют гармоничности их отношений с крестьянами. Аффективность в их отношениях проявляется в двух местах: в описании похорон Евгения и полевых работ крестьян. Слезы объединяют всех на могиле Евгения: «все дворовые люди и крестьяне присутствовали при /.../ печальном обряде и проливали горькие слезы»<sup>98</sup>. Удовольствие/ радость актуализируются в отрывке, где описывается, как госпожа Л. с дочерью часто «после обеда хаживали /.../ смотреть полевые работы поселян, которые в присутствии их трудились с радостью. Вечер приносил с собою новые удовольствия. Смотрели на заходящее солнце, смотрели, как кроткие овечки при звуках пастушеской свирели бегут домой, блеют и прыгают, как утружденные поселяне один за другим возвращаются в деревню, и слушали, как они, быв довольны успехом работ своих, в простых песнях благословляют мать-натуру и участь свою»<sup>99</sup>.

Сцену с овечками и работающими поселянами госпожа Л. и Юлия воспринимают как эстетическую картинку/ сценку, сами являясь ее зрителями. Мартин Прайс, рассуждая о живописном пейзаже, отмечает, что «эстетика и мораль могут находиться в конфликтных отношениях»<sup>100</sup>. В качестве примера он приводит картины с изображением неработающих крестьян, бандитов, которые в живописном отношении «интереснее, чем трудолюбивые горожане»<sup>101</sup>. Здесь же наблюдатели получают эстетическое и моральное удовольствие от «правильной» с морально-эстетической точки зрения сцены. С одной стороны, в картинке наблюдающие и наблюдаемые объединяются в одно эмоциональное целое – крестьяне в присутствии госпожи Л. работают «с радостью», а их работа, в свою очередь, вызывает у смотрящих «удовольствие». С другой стороны, эстетическое удовольствие скрывает социальную дистанцию

---

<sup>98</sup> Карамзин Н., «Евгений и Юлия», с. 189.

<sup>99</sup> Там же, с. 179.

<sup>100</sup> Price M., "The Picturesque Moment", in: *From Sensibility to Romanticism: Essays Presented to Frederick A. Pottle*, F.W. Hilles and H. Bloom (eds.), New York: Oxford University Press, 1965, p. 263.

<sup>101</sup> Ibid.

между наблюдателем и объектом, на что указывает содержание «простых песен», в которых поселяне «благословляют участь свою». Это означает, что взаимное удовольствие и гармония возможны только в мире, в котором роли крестьян и наблюдающих четко закреплены и не меняются – то есть крестьяне живут и физически работают в своем мире, а наблюдающие за ними дворяне остаются в своем.

Если в «Евгении и Юлии» крестьяне оказываются в центре живописной картинке, то в «Деревне» (1792) их присутствие как бы вынесено за скобки, а на их труд указывают только его результаты. В этом произведении описывается один день из жизни повествователя, проведенный им в деревне, в которой он отдыхает<sup>102</sup>. Прогулявшись с утра по полям, он говорит: «Возвращаюсь в свое тихое жилище. Стакан густых, желтых сливок ожидает меня: как они приятны после утренней прогулки!»<sup>103</sup>. Затем он перебирает книги, читает, спит, купается: «Обед мой готов – два блюда, самые простые, составляют его»<sup>104</sup>. После чтения книг он снова засыпает: «/.../ пробуждаюсь, и чувствую легкий жар в моей внутренности – услужливый садовник приносит мне корзинку с благовонною малиною»<sup>105</sup>. Работа крестьян происходит невидимо, как бы сама собой, способствуя поддержанию описываемой идиллии. Отношения между повествователем и крестьянами выглядят абсолютно гармоничными, а цикличность протекания времени в произведении указывает на то, что эта идиллия будет повторяться и в будущем. Условием ее существования, как и в «Евгении и Юлии», является *ненарушение* социальной границы, то есть сохранение разделения ролей наблюдающего и наблюдаемого субъектов: повествователь – отдыхает и наблюдает, а крестьяне – работают. Закулисы продуцирования «идилличности» показано в «Письме сельского жителя»,

---

<sup>102</sup> «Деревня» представляет собой, как отмечает Хаммарберг, «типичную сентименталистскую идиллию, в которой характер повествователя определяет структуру» произведения (см.: Hammarberg G., *From the idyll to the novel...*, p. 77).

<sup>103</sup> Карамзин Н., *Сочинения Карамзина*, том 3, с. 461.

<sup>104</sup> Там же, с. 462.

<sup>105</sup> Там же.

представляющем собой своеобразный политический коррелят к «Деревне»: благополучие и счастье обеих сторон – «помещика» и «крестьян» – зависит от «дисциплинирования» крестьян, чем и занимается «двойник» повествователя «Деревни»<sup>106</sup>.

Сохранение социальной границы актуально и на другом уровне конструирования эмоционального сообщества. Если в «Евгении и Юлии» эмоциональная общность конструируется на уровне персонажей – госпожи Л., Юлии и крестьян, то во «Фроле Силине» и «Нежности дружбы в низком состоянии» важным становится эмоциональное конструирование общности уже между *повествователем (читателем) и крестьянами*.

Во «Фроле Силине» на уровне отношений Фрол vs другие крестьяне, а также повествователь (читатель) vs Фрол (крестьяне) выявляется несколько параллелей. Фрол и соседи-крестьяне характеризуются как «добрые» и «чувствительные»: Фрол помогает другим крестьянам в трудной ситуации во время голода, неурожая и пожара, затем выкупает двух крепостных крестьянок и выдает их замуж. Вместе с другими крестьянами он «проливает слезы» в несчастье, а доброта Фрола «трогает поселян».

Читатель и повествователь также конструируются как чувствительные субъекты. Повествователь на воображаемой могиле Фрола «проливает слезу чувствительности»<sup>107</sup>, читатель же наделяется «нежным сердцем», которое повествователь вынужден «щадить», отказываясь описывать «ужасные сцены сего времени»<sup>108</sup>. Кроме того, как Фрол страдает крестьянам, так и повествователь наделяется сострадательностью: «был еще ребенок, но умел уже чувствовать как

---

<sup>106</sup> Идиллия начинает рушиться тогда, когда помещик дает «волю» крестьянам, в результате которой они начинают «лениться», тем более что они «ленивы от природы» (Карамзин Н., «Письмо сельского жителя», с. 50), и соответственно «беднеть» (Там же, с. 46). Восстанавливается же она, когда он снова становится «отцом» для крестьян, беря под «контроль» их жизнь и следя за тем, как они выполняют работы.

<sup>107</sup> Карамзин Н., *Сочинения Карамзина*, том 3, с. 664.

<sup>108</sup> Там же, с. 662.

большой человек, и страдал, видя страдание моих ближних»<sup>109</sup>. Таким образом, сразу на двух уровнях («нежного» читателя и «чувствительного» персонажа-крестьянина) строится эмоциональное сообщество, в котором, на первый взгляд, риторически сокращается дистанция между разными классами.

В «Нежности дружбы в низком состоянии» обнаруживается такой же «эмоциональный» параллелизм. В этом коротеньком произведении описываются трогательные отношения между двумя бедными девушками и подчеркивается их доброта<sup>110</sup>. О своей жизни они рассказывают госпоже М., которая выражает им сочувствие, равно как и повествователь. Комментируя рассказанное, он риторически обращается к читателю: «Читатель! Это не выдумка. Сии нежные друзья живут и ныне в городке О. Госпожа М. всегда к ним заезжает, и никогда без чувства с ними не расстается»<sup>111</sup>. Повествователь приглашает читателя разделить с ними его эмоции, восклицая: «Такие души, такая дружба, и в таком состоянии!»<sup>112</sup>.

В обоих рассказах крестьян, помимо доброты и сострадания, объединяет не менее важная черта – покорность и религиозность. Фрол Силин, например, свои добродетельные поступки и обстоятельства всегда объясняет «волей бога». Когда он отказывается брать долги, которые крестьяне собирались ему вернуть, «тронутые поселяне, проливая слезы [сказали] хорошо. Будь по-твоему! Мы раздадим этот хлеб нищим, и скажем, чтобы они вместе с нами молились за тебя Богу /.../. Фрол вместе с ними плакал и смотрел на небо/.../»<sup>113</sup>. Фрол принимает мир таким, какой он есть, и, надо полагать, доволен своим состоянием, как и Анята с Машей, которые в ответ на вопрос Госпожи М. «И так вы совершенно довольны своим состоянием, друзья мои?»<sup>114</sup>, отвечают: «Конечно,

---

<sup>109</sup> Там же.

<sup>110</sup> Там же, с. 408.

<sup>111</sup> Там же, с. 410.

<sup>112</sup> Там же.

<sup>113</sup> Там же, с. 663.

<sup>114</sup> Там же, с. 409.

сударыня!»<sup>115</sup>. Фрола, Анюту и Машу вполне устраивает существующий порядок. Таким образом, крестьяне изображаются религиозными, чувствительными и покорными, что вызывает сочувствие у повествователя (читателя) и создает (текстуальную) общность между разноуровневыми участниками литературной (и воображаемой политической) коммуникации.

Живов писал, что в сентиментализме «стирались социальные грани». Однако кажется верным и мнение Дэвида Денби, который пишет, что хотя сентиментализм в Англии и во Франции, в целом, характеризовался демократичностью и был ориентирован на то, чтобы показать, что «разница в социальном положении не важна»<sup>116</sup>, тем не менее зачастую сентименталистский текст тонким, завуалированным образом артикулировал право «власть предрешающих самим решать, вести ли им себя гуманно по отношению к тем, кто ниже их по положению»<sup>117</sup>. В другом месте он отмечает, что необходимым условием процесса сентиментализации (наделение чувствительностью персонажей, занимающих высокое социальное положение) являлось «редуцирование сентиментализированного объекта до состояния жертвы»<sup>118</sup>, так как иначе не было бы условий для актуализации чувствительности и сострадания.

Представляется, что в обсуждаемых текстах Карамзина актуализация сочувствия и любви к крестьянам оказывается возможной отчасти благодаря наличию разделяющей их социальной границы. Госпожа Л., госпожа М. и повествователь «трогаются» *чувствительностью и покорностью* крестьян, сами «становясь» чувствительными субъектами. Покорность крестьян «своей участи» не нарушает существующего порядка вещей, а для Карамзина порядок в политическом и социальном устройстве так же, как и для Берка,

---

<sup>115</sup> Там же, с. 410.

<sup>116</sup> Denby D.J., *Sentimental Narrative and the Social Order in France, 1760-1820*, Cambridge University Press, 1994, p. 43.

<sup>117</sup> Ibid., p. 48.

<sup>118</sup> Ibid.

характеризуется *красотой* гармоничного сосуществования различных его частей (порядок красив эстетически и является выражением прекрасного). Нарушение его разрушило бы и его красоту. Таким образом, социальная граница парадоксальным образом актуализирует симпатию (которая является основополагающим чувством для существования социума по Берку) и поддерживает эмоциональное сообщество дворян и крестьян. Попытка пересечь эту границу оборачивается трагедией («Бедная Лиза») <sup>119</sup>.

В покорности крестьян «реализуется» высказанное в «Наказе» Екатерины II пожелание (которое в «Похвальном слове» приводит Карамзин), чтобы каждый был счастлив в том состоянии, в каком находится (в своем сословии). Таким образом, можно усмотреть параллель между эмоциональным сообществом дворян и крестьян в

---

<sup>119</sup> Как пишет Жан Брейяр, окраина города (Москвы) является промежуточным пространством, местом социального конфликта и столкновения между двумя мирами, деревней и городом. С точки зрения эмоционального конструирования сообщества дворян и крестьян, нарушение социальной границы ведет и к разрушению эмоционального сообщества (смерть Лизы). Пока граница поддерживается, Эраст вполне может воображать Лизу в образе пастушки и испытывать к ней «братские» чувства, а Лиза – лелеять представление об Эрасте как о пастухе. Как только граница пересекается, эмоциональная гармония начинает рушиться. Брейяр связывал это с ситуацией «окраины», обладающей значением «промежуточности» места и модерности. Окрестности Москвы в «Бедной Лизе» он определяет как «промежуточное пространство», разновидность «сентименталистского предместья» (faubourg), и делает вывод, что это – «место, где нейтрализуются различия, границы» и где происходит взаимодействие, «обмен между людьми всех сословий» (см.: Breuillard J., «L'espace sentimentaliste», p. 27).

«Промежуточность» положения Лизы, как пишет Брейяр, сказывается в том, что она оказывается на «социальных окраинах»: будучи уже не крестьянкой в полном смысле слова – она не занимается возделыванием земли или скотоводством, традиционными занятиями крестьян – Лиза втягивается в «экономику города» (Там же, с. 26), которая дает ей возможность жить за счет продажи своего труда.

«Экономическую деклассированность» Лизы отмечает и Дэвид Херман, который считает, что благодаря «деклассированности» она получает возможность встретить Эраста и подняться по «социальной лестнице». Именно роль социо-экономических факторов становится объектом анализа в его работе. Анализируя значение бедности в «Бедной Лизе», автор пишет, что политические и экономические вопросы не играют прямой роли в произведении. А классовая принадлежность и бедность в финансовом смысле не являются определяющими для трагического развития сюжета, хотя, с другой стороны, такой сюжет был бы невозможен без «классового различия протагонистов»: то есть, с его точки зрения, «Карамзин как будто хочет, чтобы мы почувствовали, что судьба Лизы не зависит от финансовых сил, но по какой-то внутренней неясной логике соотносится с ними /.../. Карамзин предпочитает, чтобы мы задумались об эмоциях, а не о причинах, их породивших» (Herman D., *Poverty of the Imagination: Nineteenth Century Russian Literature about the Poor*, Illinois: Northwestern University Press, 2001, p. 11). Херман считает, что «бедность» Лизы объясняется не столько ее классовой принадлежностью, сколько биографическими причинами. Так, сюжетная цепочка актуализируется, когда умирает Лизин отец, «зажиточный поселянин». Если бы не смерть отца, то Лиза могла бы реализовать судьбу, которой для нее желала мать: выйти замуж за крестьянина (Там же, с. 10).

некоторых произведениях малой прозы («Фрол Силин», «Нежность дружбы в низком состоянии», «Евгений и Юлия») и эмоциональным сообществом монарха и его подданных в масштабе всей империи в панегирических жанрах. Взаимодополняя друг друга, они вписываются в парадигму прекрасного, которая в целом выражает утопическую тенденцию мышления Карамзина.

### **Время**

Время в художественной прозе Карамзина, как и в политических и панегирических жанрах, тесно связано с конструированием эмоционального сообщества. Его анализ будет производиться на двух уровнях. С одной стороны, оно представляет собой *временной вектор*, отражающий изменение характеристик рассматриваемого эмоционального сообщества (например, идиллия в прошлом, разрушение идиллии в настоящем). С другой стороны, его можно концептуализировать как *память*, которую конструирует сам повествователь и которая, как будет показано, обеспечивает аффективную связку между различными субъектами в сообществе. При этом в конструировании памяти особую роль играют категории возвышенного и прекрасного.

Теперь рассмотрим более подробно связь между эмоциональным сообществом и временем, в котором оно изображается. Цикличность, неизменность, медленность времени *в прошлом* в малой прозе Карамзина противопоставлена быстроте, скорости, движению и хаотичности времени *в настоящем*. Упрощая, можно сказать, что сообщество, объединяемое эвфорическими эмоциями, реализуется в прошлом или же, если оно изображается в настоящем, ему, тем не менее, соответствует *время прошлого*, проступающее в настоящем.

Например, в «Марфе-посаднице» одна из наиболее важных характеристик времени, связанных с конструированием эмоционального сообщества, – его *утопичность*. В начале повести (в речи Холмского)

говорится о «счастливых временах», царивших в прошлом, когда Рюрик и Ярослав «ходили по стогнам и вопрошали бедных, не угнетают ли их богатые», когда они судили новгородцев, как «отцы детей»<sup>120</sup>. Утопичность проявляется и в стремлении Иоанна после победы над татарами «воскресить счастливые времена» Рюрика и Ярослава: тогда «бедные и богатые равно будут счастливы, ибо все подданные равны пред лицом владыки самодержавного»<sup>121</sup>. Так, временная дуга перебрасывается от счастливых времен правления Рюрика к правлению Иоанна, победившему новгородцев, сближая их по смыслу: Иоанн «угостил роскошною трапезою» новгородских бояр в доме Ярослава, «державною рукою своею сыпал золото на беднейших граждан, которые искренно и добросердечно славили его благотворительность»<sup>122</sup>. «Державная рука», сыплющая «золото», символизирует уравнивание богатых и бедных и наступление «счастливых времен», о которых в начале в своей речи говорил Холмский. А мотив отсутствия бедности, как пишет Байэр, является существенным элементом утопии<sup>123</sup>. При этом дистанция между правителями, Рюриком, Ярославом, Иоанном, и народом сокращается: Рюрик и Ярослав сами «ходят по стогнам» и интересуются, не угнетают ли богатые бедных; Иоанн «державной рукой» сам сыплет на них «золото». Таким образом, в «Марфе-посаднице», несмотря на диссонансную ноту (граждане идут за вечевым колоколом как «нежные дети за гробом отца своего»)<sup>124</sup>, временная дистанция по отношению к моменту повествования позволяет повествователю задействовать утопические аспекты в конструировании эмоционального сообщества.

В «Евгении и Юлии» действие происходит в настоящем, однако сквозь него «проглядывает» прошлое: повествователь отмечает, что в отношениях Евгения и Юлии как будто воскресают «блаженные

<sup>120</sup> Карамзин Н., *Избранные сочинения*, том 1, с. 686.

<sup>121</sup> Там же.

<sup>122</sup> Там же, с. 725.

<sup>123</sup> Baehr S.L., *The Paradise Myth in Eighteenth-Century Russia...*, p. 3.

<sup>124</sup> Карамзин Н., *Избранные сочинения*, том 1, с. 723.

патриархальные времена, в которые добродетельный юноша без всякой боязливой застенчивости, означающей растленную пороком душу, прижимал к груди своей добродетельную девицу!»<sup>125</sup>. Утопическому моменту в «Марфе-посаднице» («временная дуга», соединяющая правление Ярослава и Иоанна) здесь соответствует «мостик», перебрасываемый из патриархального прошлого в настоящее. В «Бедной Лизе» в стремлении Эраста воспринимать Лизу как пастушку также прочитывается своеобразная попытка актуализации или воскрешения счастливых «прошлых времен», о которых он читал в идиллиях, и попытка «разыграть» ситуацию так, как это могло бы быть в идиллическом прошлом<sup>126</sup>. Этому способствует место действия повести – окраины Москвы. К такой ситуации вполне применимо понятие Брейяра «локализованная утопия», характеризующее сентименталистское предместье как место отдыха и уединения в центре цивилизации<sup>127</sup>. И, действительно, Эраст пытается уйти от цивилизации (города) и обрести такое «утопическое место» в окрестностях столицы. Таким образом, в малой прозе именно *время прошлого* характеризует эмоциональное сообщество, конструируемое *эвфорическими эмоциями*.

Теперь можно перейти к рассмотрению *времени* как *памяти* в художественной прозе Карамзина. Повод для такого разговора дают два произведения: «Фрол Силин» и «Бедная Лиза», – в обоих случаях на уровне повествователя/читателя.

Специфика конструирования памяти во «Фроле Силине» определяется тем, что этот рассказ представляет собой своего рода оду в прозе, наряду с «Похвальным словом»<sup>128</sup>. Однако если в «Похвальном

---

<sup>125</sup> Карамзин Н., «Евгений и Юлия», с. 186.

<sup>126</sup> Энтони Кросс пишет, что достижением Карамзина в «Бедной Лизе» было развитие идеи разрыва между «книгой и реальностью, идеалом и человеческой природой» (Cross A., “Karamzin’s Versions of the Idyll”, in: *Essays on Karamzin: Russian Man-of-Letters, Political Thinker, Historian, 1766-1826*, p. 87).

<sup>127</sup> Breuillard J., «L’espace sentimentaliste», p. 23.

<sup>128</sup> Близость «Фрола Силина» к жанру похвального слова и, в частности, к «Историческому похвальному слову Екатерине II» отмечает П. А. Орлов, считая, что она проявляется на уровне композиции произведения, которое можно разделить на три части: выражение намерения хвалить, описание поступков и краткое выражение «итога» (см.: Орлов П.А., «Жанр

слове» восхваляется величественный объект, то здесь, наоборот, – «простой поселянин»: «Пусть Virgilius прославляют Августов! Пусть красноречивые льстецы хвалят великодушные знатных! Я хочу хвалить Фрола Силина, простого поселянина»<sup>129</sup>. В этом зачине можно видеть отказ от традиционных форм и объектов прославления<sup>130</sup>, характерных для торжественной оды. Он перекликается с концовкой рассказа, где повествователь возводит воображаемый памятник Фролу Силину.

Хотя Фрол – «маленький» человек, он оказывается «достойным» объектом для того, чтобы о нем помнили последующие поколения читателей. Как было показано при анализе политических статей, для поднятия «патриотической гордости» и создания образа для самоидентификации нации Карамзин использовал образы «героев» или исторических побед, характеризующихся возвышенностью. При этом в обращении к таким образам значительную роль играло внимание к «Другому» (Европе) и конструирование отличий от него, что должно было служить созданию и укреплению связей в сообществе на когнитивном/ эмоциональном уровне. Во «Фроле Силине» эту функцию выполняет конструируемая память, сокращающая дистанцию на социальной вертикали «господа» vs крестьяне.

«Могила» и дела Фрола по своему значению приравниваются делам «великих мужей», однако память о «великих» и «маленьких» конструируется по-разному. В тексте «великолепный храм», который «славнейшая нация Европы» посвятила «мужам великим» (Вестминстерское аббатство), противопоставляется храму «добрым Гениям человечества», в котором должен был бы быть «сооружен памятник Фролу Силину»<sup>131</sup>. Если храм «великим мужам» вызывает удивление и уважение, то храм «добрым гениям» – «сердечные слезы»<sup>132</sup>:

---

произведения Н.М. Карамзина «Фрол Силин, благодетельный человек», в: *Русская литература*, 1976, № 4, с. 189-191).

<sup>129</sup> Карамзин Н. М., *Сочинения Карамзина*, том 3, с. 661.

<sup>130</sup> Hammarberg G., *From the idyll to the novel...*, p. 125

<sup>131</sup> Карамзин Н. М., *Сочинения Карамзина*, том 3, с. 665.

<sup>132</sup> Там же.

повествователь, если Фрол будет жив, «с благоговением приблизится к [его] хижине, и поклонится добродетели в лице [его]», а если не будет жив, то «велит проводить себя ко гробу [его], и на бесчувственную землю прольет слезу чувствительности /.../»<sup>133</sup>. Воображаемый памятник благодетельному «поселянину», с одной стороны, вписывается в память об *общечеловеческих* «гениях» (храм, посвященный «добрым гениям человечества»), а с другой – это памятник именно *русскому* поселянину, который жил в «одной из деревень близ Симбирска»<sup>134</sup>. Память «мужам великим» связана с функционированием возвышенного, поскольку вызывает удивление и уважение: повествователь «с покрытою головою не пройдет /.../ мимо сего места»<sup>135</sup>. Уважение же противопоставляется «слезам сердечным», без которых «не прошел бы [он] мимо храма, посвященного добрым Гениям человечества»<sup>136</sup>, а доброта является прекрасной добродетелью (в терминологии Берка). Таким образом, в конструировании памяти о «маленьком» человеке оказывается важной категория прекрасного. Сам Фрол наделяется прекрасными добродетелями – «добрый», «великодушный», «чувствительный» – которые вызывают слезы у других. Слезы способствуют объединению в одно эмоциональное сообщество повествователя/ читателей и крестьян, сокращая дистанцию между ними.

В «Бедной Лизе» тема памяти вводится в связи с историей отечества, о которой повествователь размышляет на развалинах Симонова монастыря. По мнению Хаммарберг, как история отечества, так и история Лизы для Карамзина, в первую очередь, являются объектами эстетического удовольствия. Способность «трогаться» ими, наряду со способностью повествователя/ Карамзина восхищаться природой, сочувствовать и т.д., призваны показать читателю, что значит быть «чувствительным» человеком, автором и читателем

---

<sup>133</sup> Там же, с. 664.

<sup>134</sup> Там же, с. 662.

<sup>135</sup> Там же, с. 665.

<sup>136</sup> Там же.

одновременно<sup>137</sup>. Похоже, что повод к такому ее выводу дало описание прогулок повествователя по московским окрестностям, по которым он гуляет «без плана, без цели»<sup>138</sup>, а также его высказывание о том, что Симонов монастырь для него является местом «наиболее приятным», где он «почти всегда встречает весну», и куда приходит «в мрачные дни осени горевать вместе с природою»<sup>139</sup>. Вывод об эстетизации истории Карамзиным как бы подтверждается и его восклицанием: «люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!»<sup>140</sup>.

Тем не менее представляется, что история в «Бедной Лизе» служит не только объектом эстетического удовольствия, но также и попыткой реализации связи между читателем/ нацией и ее прошлым. Оплакивая Лизу, читатель оплакивает и трагические моменты истории России и, наоборот, оплакивая Россию, читатель оплакивает и Лизу: как показал В.Н. Топоров, в этом произведении исторический «макроплан» соотносится с «частной историей бедной Лизы»<sup>141</sup>. Если в политических статьях Карамзин предлагал читателям для самоидентификации и «патриотической гордости» образ динамической, победоносной, развивающейся России и ее героев, то в «Бедной Лизе» акцент ставится на ее трагическом прошлом (образ Москвы как «беззащитной вдовицы»)<sup>142</sup>.

---

<sup>137</sup> Hammarberg G., *From the idyll to the novel...*, p. 150-151.

<sup>138</sup> Карамзин Н.М., *Избранные сочинения*, том 1, с. 605.

<sup>139</sup> Там же, с. 606.

<sup>140</sup> Там же, с. 607.

<sup>141</sup> Топоров В.Н., «О “Бедной Лизе” Карамзина», с. 829.

<sup>142</sup> Стоит отметить, что в целом для Карамзина не характерно «любование» историей ее страданий. Его больше привлекает момент их преодоления, выражающийся, например, в кратком экскурсе в историю в его статье «О любви к отечеству и народной гордости»: «Разделение России на многие владения и несогласие князей приготовили торжество Чингисхановых потомков и наши долговременные бедствия. Великие люди и великие народы подвержены ударам рока, но и в самом несчастье являют свое величие. Так Россия, терзаемая лютым врагом, гибла со славою: целые города предпочитали верное истребление стыду рабства. Жители Владимира, Чернигова, Киева принесли себя в жертву народной гордости и тем спасли имя русских от поношения. Историк, угоняемый сими несчастными временами, как ужасною бесплодною пустынею, отдыхает на могилах и находит отраду в том, чтобы оплакивать смерть многих достойных сынов отечества» (*Вестник Европы*, 1802, № 4, с. 62).

Шенле интерпретирует восприятие Симонова монастыря и Москвы повествователем и его обращение к истории как ситуацию «modernity», когда повествователь, будучи, с одной стороны, сторонником просвещения, разума и прогресса, ностальгически воскрешает ушедшие времена и мифы, а это – процесс, который не может завершиться<sup>143</sup>. Шенле подчеркивает, что причиной такого ностальгического переживания является радикальный разрыв с прошлым<sup>144</sup>. С другой стороны, хотелось бы отметить, что здесь важно не только состояние переживания «разрыва» с прошлым, но и попытка выстроить в читателе эмоциональную память или связь между прошлым и настоящим. В этом отношении представляется верным мнение Кана, который пишет, что для Карамзина руины, могилы и памятники (в том числе литературные) свидетельствуют не только об увлечении предромантическими темами (в «Письмах русского путешественника»). Они являются тем местом, «куда приходят путешественник и читатели, чтобы понять себя и определиться в своих чувствах – тех чувствах, которые являются философской основой идентичности и социальности, социума и нации /.../»<sup>145</sup>, причем основополагающим чувством по отношению к монументам является симпатия, которая посредством «...воображаемой проекции восстанавливает преемственность (*continuity*), дает голос умершим /.../»<sup>146</sup>. Таким образом, важным является сам факт эмоционального переживания прошлого, которое актуализируется в момент его переживания.

Необходимо отметить, что в конструировании памяти и переживании прошлого в «Бедной Лизе» важна категория возвышенного, о наличии которой свидетельствует описание состояния повествователя, когда он приходит в разрушенный монастырь: «Там, опершись на развалины гробных камней, [он] внима[ет] глухому стону времен,

<sup>143</sup> Шенле А., «Между “древней” и “новой” Россией: руины у раннего Карамзина как место “modernity”», с. 135-136.

<sup>144</sup> Там же, с. 136, 126.

<sup>145</sup> Kahn A., “Nikolai Karamzin’s discourses of Enlightenment”, p. 518.

<sup>146</sup> Ibid., p. 534.

бездною минувшего поглощенных, — стону, от которого сердце [его] содрогается и трепещет. Иногда захо[дит] в келий и представля[ет] себе тех, которые в них жили, — печальные картины! /.../ Все сие обновляет в [его] памяти историю нашего отечества — печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях»<sup>147</sup>. В этом отрывке история или течение времени, которое повествователь не может охватить и представить в своей целостности, функционирует как возвышенное, реакцией на которое является «содрогание» и «трепет»<sup>148</sup>. Такая реакция выражает страх перед исчезновением и бесконечностью: Карамзин использует образ времени, поглощаемого «бездною минувшего», стоящий в одном ассоциативном ряду со смертью, которую Берк называет «царем ужасов», — самой сильной идеей, связанной с переживанием возвышенного<sup>149</sup>. Семантически с исчезающими временами перекликается и «печальная история» отечества, память о котором, возможно, когда-нибудь полностью сотрется. Поэтому во вступлении к повести значение имеет не только параллель между «нашествиями иностранных войск»/ имперской Москвой и Москвой как «бедной вдовицей»/ овдовевшей Лизиной матерью (которую анализирует Шенле)<sup>150</sup>, но и тема памяти и времени в более общем смысле.

Разрыв между прошлым и настоящим, переживаемый как возвышенное, преодолевается посредством «слез нежной скорби»<sup>151</sup>, совмещающей в себе значения двух контрастных эмоциональных состояний. В скорби выделяется значение «крайности» состояния и его «негативности»: «глубокая печаль, горесть», «беда, несчастье», «болезнь,

<sup>147</sup> Карамзин Н., *Избранные сочинения*, том 1, с. 606.

<sup>148</sup> История как источник возвышенного также изображается в «Историческом похвальном слове Екатерине II».

<sup>149</sup> Берк Э., *Философское исследование...*, с. 72.

<sup>150</sup> Шенле А., «Между “древней” и “новой” Россией: руины у раннего Карамзина как место “modernity”», с. 130-131.

<sup>151</sup> Карамзин Н.М., *Избранные сочинения*, том 1, с. 607.

боль»<sup>152</sup>, «досаждение», «забота»<sup>153</sup>. Скорбь, будучи сильным аффективным состоянием, в тексте смягчается «нежностью», которая противоположна «крайности»: «не резкий, приятный (для зрения, слуха, обоняния, вкуса)», «мягкий, не жесткий, не грубый (на ощупь)», «ласковый, проявляющий привязанность, любовь»<sup>154</sup>. «Возвышенное, выражающееся в страхе повествователя перед «бездной минувшего», тем самым постепенно переводится в модус «нежной скорби», представляющей своего рода ностальгическую память, объединяющую повествователя с прошлым.

А.-Ю. Греймас для пояснения своего семиотического анализа ностальгии приводит цитаты из Антуана де Сент-Экзюпери – «ностальгия – это страстное желание неизвестно чего» – и из Виктора Гюго – «меланхолия» – «счастье быть печальным»<sup>155</sup>. Они удачно описывают состояние повествователя в «Бедной Лизе», когда ему, оторванному от прошлого, ничего не остается как рисовать его картины в воображении<sup>156</sup>. В повести конструируется ностальгическая память, которую характеризует не обращение к истории в целях поиска героических образов для поддержания «патриотической гордости», но сам повторяющийся акт вспоминания.

---

<sup>152</sup> *Словарь современного русского литературного языка*, том 13, с-няться, Москва-Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1962, с. 1015.

<sup>153</sup> Срезневский И.И., *Материалы для словаря древне-русского языка по письменным памятникам*, том 3, с. 399-402.

<sup>154</sup> *Словарь современного русского литературного языка*, том 7, Н, 1958, с. 871.

<sup>155</sup> Greimas A.-J., «Apie nostalgiją: leksinės semantikos studija», *Kultūros barai*, 2007, № 3, iš pranc. k. vertė, Nastopka K, p. 67.

<sup>156</sup> Радикальный разрыв с прошлым, о котором пишет Шенле, созвучен тому, как определяет один из типов культурно-исторического травматического опыта Франк Анкерсмит: «То, что однажды *было* идентичностью личности, /.../ трансформируется в идентичность, которую личность *знает* (но которой более не является)» (Ankersmit F.R., “The Sublime Dissociation of the Past: Or how to Be(come) What One is No Longer”, *History and Theory*, vol. 40, № 3 (Oct., 2001), p. 307). При этом «знание никогда не может заменить бытие» (Ibid., p. 323). Фрейд определял переживание разрыва с объектом отождествления (например, Родина) как тоску или меланхолию, причем меланхолия отличается от тоски более сильным и сложнообъяснимым состоянием (см.: Фрейд З., «Печаль и меланхолия», в: *Психология эмоций*, сост. В. Вилюнас, СПб: «Питер», 2006, с. 388-389). Однако представляется, что в анализируемом отрывке акцентируется не столько «травматический разрыв», окрашенный в меланхолию во фрейдовском понимании, сколько реализация *эмоциональной* связи с прошлым в воспоминаниях. Его нельзя вернуть, но можно переживать в воображении, чтобы оно не «стерлось» в общем потоке времени.

Таким образом, в малой прозе категории прекрасного и возвышенного связаны с конструированием памяти. Прекрасное проявляется в памяти, объединяющей эмоциональное сообщество по социальной вертикали дворяне/ крестьяне (воображаемый памятник Фрола Силина), а возвышенное – в памяти, соединяющей сообщество со своим собственным прошлым (руины в «Бедной Лизе»).

### Неэмоциональное (модерное) сообщество

Хотя произведение «Чувствительный и холодный» (1803) изначально было «нацелено» Карамзиным на раскрытие психологических особенностей двух характеров, в контексте данного исследования этот рассказ представляет интерес с точки зрения конструирования современного сообщества. Под модерным сообществом будет пониматься, прежде всего, сообщество, принадлежащее к «современности», характеризующейся социальной и профессиональной мобильностью, рационализацией, демифологизацией и секуляризацией культуры и различных жизненных областей, ориентированностью на прогресс, бюрократизацией государства<sup>157</sup>. Именно наличие этих признаков и отличает его от традиционного (патриархального). Шенле дает следующую характеристику современного человека: это человек, «состоящий на службе у /.../ централизованного государства», – и приводит в пример героя «Бедной Лизы» Эраста, который «должен преодолеть свою тоску по традиционному, пасторальному, чтобы быть частью современного общества»<sup>158</sup>.

---

<sup>157</sup> Хабермас Ю., *Философский дискурс о модерне*, пер. с нем. М.М. Беляева и др., Москва: Издательство «Весь мир», с. 7-22; 2003; Gellner E., *Tautos ir nacionalizmas*, iš angl. k. vertė K. Rastenis, Vilnius: Pradai, 1996, p. 45, 48,

Raëff M., “The Well-Ordered Police State and the Development of Modernity in Seventeenth-and-Eighteenth-Century Europe”, in: *Political Ideas and Institutions in Imperial Russia*, Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press, 1994, p. 309-333.

<sup>158</sup> Schönle A., *The Ruler in the Garden ...*, p. 237. Подробнее о концепции “modernity” см.: Шенле А., «Между “древней” и “новой” Россией: руины у раннего Карамзина как место “modernity”», с. 125- 128.

Поскольку в этой подглаве рассматривается роль эмоций в конструировании нации, необходимо подчеркнуть, что у Карамзина модерное сообщество в «Чувствительном и холодном» конструируется именно через *отсутствие* эмоций. Характерно, что такое сообщество не описывается метафорой семьи. И в этом отношении оно полностью противоположно эмоциональному сообществу в «Наталье, боярской дочери», «Марфе-посаднице» или «Фроле Силине». Можно было бы возразить, что перечисленные произведения вписываются в традицию сентиментализма, и поэтому роль эмоций в них «автоматически» выше, чем в других. Отчасти это так, но, тем не менее, значимым является то, что «сентиментализации» подлежат не любые отношения и не в любом пространстве. В данном случае особое значение имеет соответствие *пространства современного города неаффективному сообществу*.

В чем же заключается связь аффективности и пространства? Аффективности/ ее отсутствию соответствуют определенные пространственно-временные характеристики. Так, деревня является тем пространством, в котором функционирует основанное на любви эмоциональное сообщество дворян и крестьян, в котором реализуется счастье отдельной семьи. Этому способствует ясная отделенность деревни от города и такие ее характеристики как *закрытость, отсутствие мобильности, медленное и цикличное течение времени*<sup>159</sup>.

---

<sup>159</sup> Например, счастье в «Юлии» становится возможным после того, как Юлия с Арисом удаляются от «света» и «открытого дома» в городе в закрытое деревенское пространство: «Уже три года живут они [Юлия и Арис] в деревне, живут как нежнейшие любовники, и свет для них не существует» (Карамзин Н.М., *Сочинения Карамзина*, том 3, с. 67). В «Евгении и Юлии» деревня с внешним миром соединяется «большой дорогой», однако вектор движения односторонен, то есть направлен из города в деревню, а не наоборот. В произведении дорога упоминается только один раз, когда госпожа Л. и Юлия ждут с нетерпением возвращения Евгения из «чужих краев», чтобы все вместе одной семьей они могли жить счастливо в своем мире. Таким образом, дорога означает не возможность движения вперед, но возвращение – сходное значение дороги в этом же произведении отметила Г. Хаммарберг (см.: Hammarberg G., *From the idyll to the novel...*, p. 134).

Дорога также связывает Москву и маленький «городок О.» («Нежность дружбы в низком состоянии»), где Анюта и Маша после смерти брата вынуждены держать постоялый двор. Постоялый двор предполагает возможность изменений и динамики, как, например, в «Станционном смотрителе» А.С. Пушкина. Он подразумевает наличие двустороннего движения и возможность изменений, которые столица символически может принести в городок. Однако то, что Анюта с Машей «совершенно довольны своим состоянием», показывает, что их мир меняться не будет.

Такое сообщество возможно в близком прошлом по отношению к моменту повествования. В городе же сообщество любви между монархом и подданными реализуется только в прошлом. Современный город в художественных текстах Карамзина будучи пространством невозможности существования сообщества, основанного на эвфорических эмоциях, является пространством современного сообщества.

Город, в противоположность деревенскому пространству, прежде всего, характеризуется *открытостью, движением и скоростью*. Открытость связана с противопоставлением прошлого и настоящего, названного «веком открытости в нравственном смысле», стиранием границ между публичным и частным пространством и его театрализацией<sup>160</sup>. Соотношение открытости с современностью и стиранием границ между публичным и частным пространством характерно для «Моей исповеди» (1802). Граф N. говорит: «Некогда люди прятались в *темных* домах и под щитом *высоких* заборов. Теперь везде *светлые* дома и *большие окна* на улицу: просим смотреть! Мы хотим жить, действовать и мыслить в *прозрачном стекле*»<sup>161</sup>. «Светлые дома» семантически противопоставлены «*высокому терему*», в котором живут Наталья («Наталья, боярская дочь») и Ксения («Марфа-посадница»). Закрытость дома коррелирует с невинностью героинь, их защищенностью и интимным семейным окружением. Его открытость связана с потенциальной опасностью и разрушением семейного пространства. Юлия, например, живет в городе «*открытым домом*»: «по крайней мере, четыре раза в неделю ужинало у нее 30 или 40 человек»<sup>162</sup>. «Открытость» косвенно способствует ее соблазнению графом. В «Моей исповеди» закрытость частного пространства разрушается и театрализируется. Граф N. женится для того, чтобы завести у себя «*благородный спектакль*», для чего набирает «*итальянских кастратов*»,

---

<sup>160</sup> Карамзин Н.М., *Избранные сочинения*, том 1, с. 729.

<sup>161</sup> Там же.

<sup>162</sup> Карамзин Н.М., *Сочинения Карамзина*, том 3, с. 55.

дает «маленькие балы», «большие ужины», оперы, комедии, «подписыва[ет] счета, но никогда не счита[ет]»<sup>163</sup>.

*Скорость* и *движение* в городе могут наделяться как негативным, так и позитивным значением. Их позитивный аспект проявляется в мобильности и возможности делать карьеру: в «Чувствительном и холодном» скорость выражается в продвижении Леонида по государственной службе. Негативный же аспект находит свое выражение в призрачности городской жизни, нереальности, пустоте, смене развлечений и впечатлений и трате денег<sup>164</sup>. Скорость и движение, характеризующие современный город (а также современность в целом), или, если говорить словами Шенле, «новую» Россию, препятствуют возможности существования в нем гармоничного эмоционального сообщества, основанного на закрытости, стабильности и неизменности.

Итак, город в «Чувствительном и холодном» является полем деятельности для достижений в государственной карьере, мобильности, возможности продвигаться по социальной лестнице, что было бы невозможно в деревне. Леонид, представляющий собой образ своего рода бюрократа, сделавшего успешную государственную карьеру, вполне вписывается в его пространство. Энтони Кросс отмечает, что Леонид даже рассматривался некоторыми исследователями как образ первого буржуа в русской литературе<sup>165</sup>. Его жизнь является примером конструирования неэмоциональных, рассудочных отношений между

---

<sup>163</sup> Карамзин Н., «Моя исповедь», с. 734.

<sup>164</sup> Пример графа Н. из «Моей исповеди», деятельность которого характеризуется бесцельностью. Например, влюбленность в женщин представляет «обширное поле для [его] деятельности» и «наипрекраснейшим образом занимает пустоту жизни» (Карамзин Н., «Моя исповедь», с. 733.). Кроме того, скорость выражается в его постоянной трате денег, циркуляции векселей, бумажек и долгов. Скорость в смене впечатлений, событий приближается к нереальности, или призрачности; граф называет свет «беспорядочной игрой теней» (Там же, с. 732.), соответствующей отсутствию ясных идей, правил в самом графе. В «Юлии» движение выражается в «разнообразии» и «забавах», смене впечатлений («новых идеях», «новых впечатлениях»), в «шуме и беспокойстве». Нереальность городских удовольствий в «Юлии» также сравнивается с «ничтожным, обманчивым призраком» (Карамзин Н., «Юлия», с. 64.)

<sup>165</sup> Cross A.G., N. M. *Karamzin: a study of his literary career...*, p. 129. Кросс обнаруживает это мнение у Р. В. Иванова-Разумника (Иванов-Разумник Р. В., «Историко-философская оценка сентиментализма», в: *Карамзин: жизнь и творчество*, СПб.-Варшава, 1911, с. 32) и в *Истории русского романа* (том 1, Москва-Ленинград: 1964, с. 82).

субъектами в сообществе. Он приносит пользу государству благодаря своему «равнодушию и спокойствию», холодности, флегматическому темпераменту, рациональности; становится «знатным человеком в государстве». «Государь и государство уважали его заслуги, разум, трудолюбие и честность», однако «никто, кроме Эраста, не имел к нему истинной привязанности»<sup>166</sup>. Со стороны государя он «получает» уважение, а не любовь. Совсем иначе в «Наталье, боярской дочери» выстраиваются отношения между царем, Матвеем и Любославским, где чувства играют определяющую роль в их отношениях.

Леонид эмоционально дистанцируется не только от монарха и друзей, но и от семьи (жены). Будучи «деловым человеком», он проявляет «деловитость» и в семейных отношениях – женится только «для порядка в доме»<sup>167</sup>. Этим подчеркивается эмоциональная «неангажированность» Леонида. Пространству города «соответствует» несчастливая семейная жизнь обоих героев. Эраст даже разводится со своей женой. А развод, как пишет Лотман, являлся «одним из нововведений петровской действительности» и «практически принадлежал новой государственности», что «вступало в противоречие, как с обычаями, так и с церковной традицией»<sup>168</sup>. В деревенском мире, который Карамзин изображает в других произведениях, развод невозможен.

Таким образом, город представляет собой пространство, соответствующее более современному сообществу, то есть такому, которое не описывается метафорой семьи: между монархом и подданным не действует семейно-патриархальная схема отношений («царь-батюшка» – «подданные-сыны»), подданный не связан личными (эмоциональными) отношениями с царем, а их отношения регламентируются законом. Отношения субъектов по вертикали – «неэмоциональны», «рассудочны», примером чего является Леонид, что полностью противоположно

---

<sup>166</sup> Карамзин Н. М., *Избранные сочинения*, том 1, с. 754.

<sup>167</sup> Там же, с. 750.

<sup>168</sup> Лотман Ю.М., *Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX века)*, СПб: «Искусство», 1994, с. 120.

сообществу, изображаемому в «Похвальном слове» и в политических статьях, где крайне важен эмоциональный фактор.

### **Выводы**

В этой части было показано, что *пространство* России в малой прозе Карамзина входит в европейское пространство по признаку распространенности просвещения преимущественно на уровне семьи. В противопоставлении «своего» пространства «чужому» («вражескому») важен религиозный признак. В «своем» – выделяется пространство родины, которое не тождественно имперскому пространству (из него исключаются «суеверные») и включает в себя Москву, провинцию и Волгу. Опыт переживания родины (пространство которой коррелирует с «эксклюзивным» сообществом, «ограниченным» православной идентичностью) персонажем/ повествователем раскрывается через парадигму прекрасного. Возвышенное же характеризует именно имперский аспект Москвы.

*Эмоции* в малой прозе функционируют следующим образом. «Негативные» эмоции (ужас) конструируют аффективную границу между Россией и «врагами», причем такая граница актуализируется в произведениях с историческим контекстом. Действие эвфорических эмоций конструирует эмоциональное сообщество, которое объединяется по двум направлениям – монарх/ подданные и дворяне/ крестьяне. Спецификой сообщества дворян/ крестьян является то, что эвфорические эмоции, которые их объединяют, актуализируются благодаря разделяющей их социальной границе. Эмоциональное сообщество описывается, главным образом, в терминах категории прекрасного, выражающей их утопичность. Ему соответствует пространство города в прошлом или деревни в настоящем. В свою очередь, спецификой современного сообщества, которому соответствует пространство современного города, является то, что оно не конструируется эмоциями.

*Время* в малой прозе также тесно связано с конструированием эмоционального сообщества, которое, как правило, характеризуется временем прошлого. Время же, понимаемое как *память*, служит для конструирования эмоциональной связи по двум направлениям: по социальной вертикали (особую роль при этом играет прекрасное) и для осуществления связи нации со своим историческим прошлым (особая роль возвышенного).

## ВЫВОДЫ

Проблематику нации у Карамзина с разных точек зрения рассматривали многие исследователи. При этом в основном исследовались его идеи, или же отдельные элементы художественных и некоторых политических и публицистических текстов (например, пейзаж, патриотизм, идилличность и др.), имеющие отношение к проблематике нации. В настоящей работе была предпринята попытка исследования способов конструирования нации в самих текстах. Выбранный подход, при котором нация понимается как некое «воображаемое сообщество» (Бенедикт Андерсон), позволил отойти от анализа идей и понятий и сфокусироваться на художественных элементах самих текстов. Предпринятый анализ исходил из предположения, что конститутивными элементами нации как воображаемого сообщества у Карамзина являются пространство, время и эмоции, специфика которых раскрывается посредством категорий возвышенного и прекрасного. Совокупность способов выражения в текстах этих элементов было предложено обозначить термином поэтика. В работе ставилась задача исследовать значение этих элементов в разных жанрах. Кроме того, важной задачей являлось раскрытие специфики поэтики нации в контексте проблематики имперского дискурса. Предполагалось, что поворот исследовательского ракурса в сторону поэтики позволит показать, как «работает» в разных текстах политическое воображение Карамзина.

В работе подтвердилось предположение о том, что поэтика нации в текстах Карамзина жанрово специфична – в разных жанрах элементы поэтики нации обладают разным «удельным весом» и значением. Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие общие выводы:

1. Важнейшим элементом поэтики нации безотносительно к жанровой специфике у Карамзина являются *эмоции*. Можно сказать, что нация как воображаемое сообщество в его текстах является, прежде всего, *эмоциональным сообществом*, в котором исключительно важна динамика аффективных отношений не только между монархом и подданными, но и между странами, политические отношения которых зачастую также описываются в терминах эмоционального контакта, в данной работе определяемого как *аффективная граница*.

Главными эмоциями, объединяющими субъектов в одно эмоциональное сообщество, являются любовь и страх. Любовь представляет собой выражение прекрасного, социальным аспектом которого является дружба и общение, а страх, в противоположность любви, выражает возвышенное, связанное с идеей силы и подчинения власти. Любовь к монарху или любовь между дворянами и крестьянами акцентируется во всех жанрах и играет явно преобладающую роль в объединении эмоционального сообщества. При этом характерно то, что хотя в русском сентиментализме по крайней мере риторически и стирались границы между различными социальными стратами, как говорил Виктор Живов, тем не менее, в работе было показано, что в малой художественной прозе Карамзина именно наличие и сохранение социальных границ является одним из факторов, способствующих проявлению эвфорических эмоций, объединяющих дворян и крестьян.

Можно сделать вывод, что сообщество, в котором страх играет подчеркнута незначительную роль и которое основывается на любви и описывается в терминах прекрасного, представляет собой утопическое сообщество, то, которое *могло бы быть* (некоторые аспекты или элементы такого сообщества выражены во всех анализируемых жанрах). Специфичность дискурса любви (его утопичность) раскрывается на фоне «ужасов» Французской революции, «самовластия» Павла I и постоянно меняющейся карты Европы. Россия, таким образом, конструируется как некое «эмоциональное убежище» от стремительных исторических

изменений (это особенно ярко видно в «Историческом похвальном слове Екатерине II»).

Следует отметить и своего рода «эмоциональную эволюцию» Карамзина, противоположные полюса которой находят выражение в таких произведениях как «Историческое похвальное слово Екатерине II» (1801) и «Записка о древней и новой России» (1811): отдавая приоритет любви, которая изображается как главная эмоция в управлении подданными и создании «идеального» сообщества, постепенно он признает и необходимость и значение страха. Так дискурс «прекрасного сообщества» совмещается с дискурсом «политической необходимости», в котором признается необходимость страха (возвышенного) в управлении сообществом. Кроме того, страх и его различные модификации (например, ужас) по отношению к России конструирует аффективную границу между странами, парадоксальным образом способствуя существованию «прекрасного сообщества» и внутреннего спокойствия в самой России.

2. *Пространство* также является важным элементом в поэтике нации в текстах Карамзина. Для его политических статей и малой прозы характерно противопоставление «своего» и «чужого» пространства по признаку просвещенности/ дикости, религиозный же его аспект существенен только для малой прозы. Хотя по признаку просвещенности Россия является европейским пространством, для понимания специфики воображения нации необходимо учитывать и другой способ деления пространства. Так, в качестве «своего» пространства в текстах Карамзина может выступать как империя, так и родина, при этом они не тождественны друг другу. Маркером имперского пространства являются различные формы проявления возвышенного, а родина характеризуется через прекрасное. В восприятии родины повествователем важен временной фактор – воспоминания о прошлом (детство). Специфической особенностью имперского пространства является неопределенность его границ и тенденция к прямому или «метафорическому» расширению, а

также то, что оно может переживаться как «возвышенное» соседями России.

Следует отметить особую роль пейзажа в воображении нации. В настоящей работе развиваются продуктивные идеи некоторых исследователей, которые рассматривали связь между изображением пейзажа у Карамзина и его попытками концептуализации национальной идентичности (Андреас Шенле, Кристофер Элай). В диссертации показывается, что специфика живописного пейзажа, артикулирующего консервативную программу и патриархальную идентичность, в некоторых статьях из «Вестника Европы» определяется не только через сравнение с аналогичным европейским живописным пейзажем (что было продемонстрировано у Шенле), но и через сравнение с «чужой» природой (неевропейской). В границах «своего» пространства живописный пейзаж, противопоставленный «чужим» возвышенным ужасам и экзотике, актуализирует проявление прекрасного (как социального принципа), которое является определяющей категорией в характеристике нации как воображаемого сообщества. В свою очередь, способность «покорять» чужую возвышенную природу, соответствует имперской составляющей нации.

3. Время в текстах Карамзина, с одной стороны, представлено как *память* о «маленьком человеке» и об истории, а с другой стороны – как *временной вектор*. Оно выступает в качестве памяти о крестьянине («Фрол Силин») и противопоставляется памяти о «великих героях». Поскольку в конструировании памяти о крестьянине акцентируются мягкие его добродетели, которые вызывают «умиление» и слезы, то она связана с функционированием категории прекрасного, способствуя сокращению дистанции между различными социальными стратами (дворянами и крестьянами). Время же как память об историческом прошлом («Бедная Лиза») связано с переживанием его как источника возвышенного, выражающегося в страхе повествователя перед

«исчезновением». В этом качестве оно обеспечивает эмоциональную сцепку нации со своим прошлым.

Временной *вектор* во всех жанрах выражает определенные характеристики эмоционального сообщества. В малой прозе прошлое связано с существованием утопического эмоционального сообщества, которое невозможно в настоящем. В одах же и политических статьях, наоборот, сообщество, которое *могло бы быть*, изображается в настоящем, главной спецификой которого является *покой*, способствующий актуализации прекрасного в сообществе.

Кроме того, посредством времени также могут характеризоваться некоторые «качества» нации: например, Россию в политических статьях, по сравнению с Европой, характеризует время начала, подчеркивающее ее потенциал.

4. В диссертации также было установлено, что поэтика нации в некоторых случаях тесно переплетается с поэтикой империи. При этом обе поэтики вовсе не являются антагонистичными (что подтверждает наблюдение Алексея Миллера), но дополняют друг друга, так что зачастую сложно провести между ними четкую границу. Они объединены между собой образом императора/ императрицы, которые одновременно являются и отцом/матерью народа (патриархальный образ), и отцом/матерью отечества (приравняемому всей империи). При этом монарх выступает объектом любви всех подданных. Политическая сила империи, ее величина и гетерогенность, равно как и способность русских учиться и их достижения в разных областях (характеристика нации) являются объектом патриотической гордости повествователя/ автора. Однако между этими поэтиками можно провести и различие, которое определяется главным образом спецификой их связи с категориями возвышенного и прекрасного.

Для определения специфики имперской поэтики у Карамзина наиболее продуктивным представляется подход, при котором имперская тематика связывается с проблематикой возвышенного (Харша Рам,

Катерина Кларк). В диссертации было показано, что поэтика империи главным образом определяется категорией возвышенного: возвышенностью наделяется пространство, политическая сила империи, а также усилия монархов, направленные на ее расширение в прямом и переносном смысле и «согласование ее частей». Российская империя переживается как источник возвышенного не только повествователем, но и «соседями» России. В статье «О Российском посольстве в Японию» имперская поэтика выражается не только посредством возвышенного, но и посредством «ориентализирующего» взгляда повествователя, который конструирует культурную дистанцию между «своими» и «чужими» («дикиими»).

В работе показывается, что наличие имперской поэтики наиболее характерно для панегирических жанров и политических статей. В одах традиция имперского возвышенного теряет силу, однако в «Похвальном слове» его риторика восстанавливается. При этом в панегирических текстах проявляется общая тенденция к «смягчению» эффектов возвышенного применительно к поэтике империи. В малой прозе она проявляется только в «Бедной Лизе», в которой возвышенное подчеркивает имперский характер Москвы.

Таким образом, нация как воображаемое сообщество, коррелирующая с пространством империи в панегирических жанрах, представляет собой «инклюзивное» сообщество, и, напротив, нация, коррелирующая с пространством родины и «ограниченная» православной идентичностью в художественных текстах, является сообществом «эксклюзивным». Можно сделать вывод, что эти две поэтики выражают разные аспекты нации как воображаемого сообщества.

5. Проведенный анализ показывает, что поэтика нации у Карамзина в значительной степени обусловлена взаимодействием утопической и реалистической тенденции в его политическом мышлении, на наличие которых указывал в частности Лотман. Настоящая работа позволяет существенным образом уточнить специфику этого

взаимодействия. Представляется, что утопическая тенденция вписывается в парадигму прекрасного, а реалистическая – возвышенного. Именно посредством разных форм реализации этих категорий политическое воображение автора оформляется в тексте, связывая между собой элементы поэтики нации, художественные элементы текста и политические рассуждения Карамзина. Тем самым можно констатировать наличие тесной связи между эстетикой его текстов и его политическим воображением.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

### Произведения Карамзина:

1. Карамзин Н.М., *Избранные сочинения в 2-х т.*, Москва-Ленинград: «Художественная литература», 1964.
2. Карамзин Н.М., *Полное собрание стихотворений*, Ленинград: «Советский писатель», 1966.
3. Карамзин Н.М., *Записка о древней и новой России в ее гражданском и политическом отношениях*, Москва: Наука, 1991.
4. Карамзин Н.М., *Сочинения Карамзина в 9 т.*, том 8, Москва: Типография С. Селивановского, 1820.
5. Карамзин Н.М., *Сочинения Карамзина в 3 т.*, том 3, Санктпетербург: В типографии Карла Крайя, 1848.
6. Карамзин Н.М., *Вестник Европы*, Москва: Университетская типография, 1802-1803.
7. Карамзин Н.М., *История государства Российского*, том 1, издание 2-е, исправленное, Санктпетербург: В типографии Н. Греча, 1818.
8. Карамзин Н.М., *История государства Российского*, том 6, издание 2-е, исправленное, Санктпетербург: В типографии Н. Греча, 1819.
9. Карамзин Н.М., *История государства Российского*, том 9, Санктпетербург: В типографии Н. Греча, 1821.

### Исследования и справочная литература

1. Алпатова Т.А., *Проза Н.М. Карамзина: поэтика повествования*, автореферат диссертации...доктора филологических наук, 10.01.01, Москва: 2012.
2. Бахтин М., *Эпос и роман*, Санкт-Петербург: Азбука, 2000.

3. Березина В.Г., *Русская журналистика первой четверти XIX века*, Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1965.
4. Берк Э., *Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного*, перевод с англ. Е.С. Лагутина, Москва: «Искусство», 1979.
5. Берков П., Макогоненко Г., «Вступительная статья. Жизнь и творчество Н.М. Карамзина», в: Карамзин Н.М., *Избранные сочинения в двух томах*, том 1, Москва-Ленинград: «Художественная литература», 1964, с. 5-76.
6. Берков П.Н., *Проблемы исторического развития литератур*, Ленинград: «Художественная литература», Ленинградское отделение, 1981.
7. Богданов К.А., «Открытые сердца, закрытые границы (о риторике восторга и беспредельности взаимопонимания)», *Новое литературное обозрение*, 2009, № 100, с. 136 – 155.
8. Болховитинов Н.Н., *История Русской Америки 1732-1867, том 1: Основание русской Америки 1732-1799*, Москва: «Международные отношения», 1997.
9. Болховитинов Н.Н., *История Русской Америки 1732-1867, том 2: Деятельность Российско-американской компании, 1799-1825*, Москва: «Международные отношения», 1999.
10. Бухаркин П.Е., «Топос “тишины” в одической поэзии М.В. Ломоносова», в: *XVIII век. Сб. 20*, отв. ред. Н.Д. Кочеткова, СПб: «Наука», 1996, с. 3-12.
11. Вацуро В.Э., «Литературно-философская проблематика повести “Остров Борнгольм”», в: *XVIII век. Сб. 8. Державин и Карамзин в литературном движении XVIII- начала XIX века*, ред. П.Н. Берков и др., Ленинград: «Наука», 1969, с. 190-209.
12. Глухов В.И., «Карамзин-прозаик и жанр романа», в: *Карамзинский сборник: Россия и Европа: диалог культур*, отв.

- ред. С.М. Шаврыгин, Ульяновск: «Карамзинская лаборатория», УлГПУ, 2001, с. 42-51.
13. Гривенко А.Н., «Карамзин-переводчик и полемика о путях развития образного языка», в: *Карамзинский сборник: Россия и Европа: диалог культур*, отв. ред. С.М. Шаврыгин, Ульяновск: «Карамзинская лаборатория», УлГПУ, 2001.
  14. Гуковский Г.А., *Русская литература XVIII века*, Москва: Аспект Пресс, 1999.
  15. Даль В.И., *Толковый словарь живого великорусского языка*, том 1, А-З, Москва: Олма-Пресс, 2004.
  16. Даль В.И., *Толковый словарь живого великорусского языка*, том 2: П-В, Москва: Олма-Пресс, 2002.
  17. Державин Г.Р., *Сочинения*, Санкт-Петербург: Академический проект, 2002.
  18. Державин Г.Р., *Сочинения Державина. С объяснительными примечаниями Я. Грота*, том 1, Санктпетербург: В типографии Императорской академии наук, 1864, с. 645.
  19. Дмитриев И.И., *Полное собрание стихотворений*, Ленинград: «Советский писатель», 1967.
  20. *Древнегреческо-русский словарь*, сост. И.Х. Дворецкий, том II, М-П, Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958.
  21. Ермашов Д.В., Ширинянц А.А., *У истоков российского консерватизма: Н.М. Карамзин*, Москва: Издательство Московского университета, 1999.
  22. Есин Б.И., *История русской журналистики (1703-1917): Учебно-методический комплект*, Москва: Флинта: Наука, 2001.
  23. Живов В., «Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной

- идентичности», *Новое литературное обозрение*, 3'2008, № 91, с. 114-141.
24. Жуковский В.А., *Собрание сочинений в четырех томах*, том 4, Москва-Ленинград: Государственное издательство художественной литературы, 1959-1960.
25. Западов А.В., «Н.М. Карамзин», в: *Русская проза XVIII века*, Москва-Ленинград: Государственное издательство художественной литературы, 1950, с. 225-237.
26. Зорин Андрей, «Импорт чувств: к истории эмоциональной европеизации русского дворянства», в: *Российская империя чувств: подходы к культурной истории эмоций. Сб. статей*, под ред. Я. Плампера, Ш. Шахадат и М. Эли, Москва: Новое литературное обозрение, 2010, с. 117-130.
27. Зорин А.Л., Немзер А.С., «Парадоксы чувствительности: Н.М. Карамзин “Бедная Лиза”», в: «*Столетия не сотрут...*»: русские классики и их читатели, Москва: «Книга», 1989, с. 7-54.
28. Зорин А., *Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети 18 в. – первой трети 19 в.*, Москва: Новое литературное обозрение, 2004.
29. Иванов-Разумник Р.В., «Историко-философская оценка сентиментализма», в: *Карамзин: жизнь и творчество*, СПб.-Варшава, 1911.
30. Казаков Р.Б., «Географические реалии “Исторического похвального слова Екатерине II” Н.М. Карамзина», в: *Историческая география: пространство человека vs человек в пространстве: материалы XXIII междунар. науч. конф., Москва, 27-29 янв. 2011 г.*, Москва: РГГУ, 2011, с. 263-267.
31. Кант И., *Сочинения в 6-и томах*, том 5, Москва: «Мысль», 1966.

32. Канунова Ф.З., *Из истории русской повести (историко-литературное значение Н.М. Карамзина)*, Томск: Издательство Томского университета, 1967, с. 72-100.
33. Киселева Л.Н., «Журнал “Зритель” и две концепции патриотизма в русской литературе 1800-х г.г.», в: *Проблемы типологии русской литературы: Труды по русской и славянской филологии: Литературоведение/ Ученые записки Тартуского университета*, вып. 645. Тарту, 1985, с. 3-20.
34. Кислягина Л.Г., *Формирование общественно-политических взглядов Н. М. Карамзина (1785-1803)*, Москва: Издательство Московского университета, 1976.
35. Кларк К., «Имперское возвышенное в советской культуре второй половины 1930-х годов», *Новое литературное обозрение*, Москва: 2009, № 95, с. 58-80.
36. Кочеткова Н.Д., «Герой русского сентиментализма: 2) Портрет и пейзаж в литературе русского сентиментализма», в: *XVIII век. Сб. 15. Русская литература XVIII века в ее связях с искусством и наукой*, под ред. А.М. Панченко, Г.Н. Моисеевой, Ю.В. Стенника, Ленинград: «Наука», 1986, с. 70-96.
37. Кочеткова Н.Д., «Тема “золотого века” в литературе русского сентиментализма», в: *XVIII век, сборник 18*, отв. ред. Н.Д. Кочеткова, СПб: «Наука», 1993, с. 172-186.
38. Кочеткова Н.Д., «Формирование исторической концепции Карамзина – писателя и публициста», в: *XVIII век. Сб. 13. Проблема историзма в русской литературе. Конец XVIII-начало XIX века*, отв. ред., Г.П. Макогоненко, А.М. Панченко, Ленинград: «Наука», 1981, с. 132-155.
39. Кросс А., «Разновидности идиллии в творчестве Карамзина», перевод с англ. И.Б. Комаровой, в: *XVIII век. Сб. 8. Державин и Карамзин в литературном движении XVIII – начала XIX века*,

- под ред. П.Н. Беркова, Г.П. Макогоненко, И.З. Сермана, Ленинград: «Наука», 1969, с. 210-228.
40. Крузенштерн И.Ф., *Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежде» и «Неве»*, Владивосток: Дальневосточное книжное издательство, 1976.
41. Лазарчук Р.М., «Проза Радищева и традиция эпистолярного жанра», в: *XVIII век. Сб. 12. А. Н. Радищев и литература его времени*, под ред. Г.П. Макогоненко, Ленинград: «Наука», 1977, с. 72-82.
42. Лисянский Ю.Ф., *Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 годах на корабле «Нева»*, Владивосток: Дальневосточное книжное издательство, 1977.
43. Ломоносов М.В., *Избранные произведения*, Ленинград: «Советский писатель», 1986.
44. Лотман Ю.М., *Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII- начало XIX века)*, СПб: «Искусство», 1994.
45. Лотман Ю.М., «Композиция словесного художественного произведения», в: *Об искусстве*, Санкт-Петербург: «Искусство», 1998, с. 203-269.
46. Лотман Ю.М. «Об оппозиции 'честь' – 'слава' в светских текстах киевского периода», в: *Избранные статьи*, том 3, Таллинн: «Александра», 1993, с. 111-120.
47. Лотман Ю.М., Успенский Б.А., «“Письма русского путешественника” Карамзина и их место в развитии русской культуры», в: *Карамзин*, Санкт-Петербург: «Искусство», 1997, с. 484-565.
48. Лотман Ю.М., «Политическое мышление Радищева и Карамзина и опыт Французской революции», в: *Карамзин*, СПб: «Искусство», 1997, с. 601-613.

49. Лотман Ю.М., «Поэзия Карамзина», в: Карамзин Н.М., *Полное собрание стихотворений*, Ленинград: «Советский писатель», 1966, с. 5-52.
50. Лотман Ю.М., «Проблема художественного пространства в прозе Гоголя», в: *Избранные статьи: статьи по семиотике и типологии культуры*, том 1, Таллинн: «Александра», 1992, с. 413-447.
51. Лотман Ю.М., «Пути развития русской прозы 1800-1810-х гг.», в: *Карамзин*, Санкт-Петербург: «Искусство», 1997, с. 349-417.
52. Лотман Ю.М., «Руссо и русская культура XVIII – начала XIX века», в: Лотман Ю.М., *Русская литература и культура просвещения*, Москва: О.Г.И., 1998, с. 190-202.
53. Лотман Ю.М., *Сотворение Карамзина*, Москва: «Книга», 1987.
54. Майофис М., «Чему способствовал пожар? “Антикризисная” российская публицистика 1837-1838 годов как предмет истории эмоций», *Новое литературное обозрение*, № 100, 2009, с. 156-183.
55. Макарова Р.В., *Русские на Тихом океане во второй половине XVIII в.*, Москва: «Наука», Главная редакция восточной литературы, 1968.
56. Макогоненко Г., «Вступительная статья: Русская проза в эпоху просвещения», *«Русская проза XVIII века»*, сост. Г. Макогоненко, Москва: «Художественная литература», 1971, с. 5-38.
57. Матвеев Е.М., *Русская ораторская проза середины XVIII века (панегирик в светской и духовной литературе)*, диссертация... кандидата филологических наук: 10.01.01, Санкт-Петербург, 2007.
58. Миллер А., «Империя и нация в воображении русского национализма. Взгляд историка», лекция, 14 апреля 2005 в

- рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру»,  
<http://www.polit.ru/article/2005/04/14/miller/> [15 марта 2012 г.]
59. Миллер А., «История понятия *нация* в России», *Понятия о России: к исторической семантике имперского периода*, том 2, Москва: Новое литературное обозрение, 2012, с. 7-49.
60. Минаева Н.В., *Правительственный конституционализм и передовое общественное мнение России в начале XIX века*, Саратов: Издательство Саратовского университета, 1982.
61. Монтескье Ш.Л., *О духе законов или об отношениях, в которых законы должны находиться к устройству каждого правления, к нравам, климату, религии, торговле, и т.д.*, пер. с фр., С-Петербург: Издание Л.Ф. Пантелеева, 1900.
62. Мордовченко Н.И., «Карамзин и его роль в развитии русской критики», в: *Русская критика первой четверти XIX века*, Москва-Ленинград: Издательство академии наук СССР, 1959, с. 46-56.
63. Орлов П.А., *Русский сентиментализм*, Москва: Издательство Московского университета, 1977, с. 222-225.
64. Орлов П.А., «Жанр произведения Н.М. Карамзина “Фрол Силин, благодетельный человек”», *Русская литература*, 1976, № 4, с. 189-191.
65. От редакции, «Имперское общество как продукт воображения *homo imperii*», *Ab Imperio*, Казань: Б/и, 4/2009, с. 9-15.
66. Пашкуров А.Н., *Жанрово-тематические модификации поэзии русского сентиментализма и предромантизма в свете категории возвышенного*, диссертация... доктора филологических наук: 10.01.01. Казань: 2005.
67. Петров А.В., «“Волжский хронотоп” в двух одах XVIII века (о путях разрушения нормативного художественного мышления)», *Духовная жизнь провинции. Образы. Символы. Картина мира:*

- Материалы Всероссийской научной конференции (г. Ульяновск, 19-20 июля 2003 г.), Ульяновск: УлГТУ, с. 30-37.
68. Платонов С.Ф., *Н. Карамзин*, СПб., 1912.
69. Покровский М.Н., «Александр I», в: *Карамзин: pro et contra. Личность и творчество Н.М. Карамзина в оценке русских писателей, критиков, исследователей. Антология*, сост. Л.А. Сапченко, Санкт-Петербург: Издательство Русской Христианской гуманитарной академии, 2006, с. 245-249.
70. Поплавская И.А., «Наталья, боярская дочь» Н.М. Карамзина и А.И. Мещерского», в: *Карамзин и время*, сб. статей, ред. И.А. Айзикова, А.С. Янушкевич, Томск: Издательство Томского университета, 2006, с. 192-206.
71. Проскурина В., *Мифы империи: литература и власть в эпоху Екатерины II*, Москва: Новое литературное обозрение, 2006.
72. Пумпянский Л.В., «К истории русского классицизма», в: *Классическая традиция: собрание трудов по истории русской литературы*, под ред. А.П. Чудакова, сост. Е.М. Иссерлин, Н.И. Николаев, Москва: Языки русской культуры, 2000, с. 30-157.
73. *Путешествия Христофора Колумба: дневники, письма, документы*, перевод с исп. Я.М. Света, Москва: Государственное издательство географической литературы, 1961.
74. Пыпин А.Н., *Общественное движение при Александре I*, Санктпетербург: В типографии Ф. Сущинского, 1871.
75. *Российская империя в зарубежной историографии: работы последних лет: Антология*, сост. П. Верг, П. Кабытов, А. Миллер., Москва: Новое издательство, 2005.
76. Сапченко Л.А., *Н.М. Карамзин: судьба наследия (Век XIX)*, Москва: МПГУ – Ульяновск: УлГУ, 2003.

77. Серман И.З., *Литературное дело Карамзина*, Москва: Издательство РГГУ, 2005, с. 182-210.
78. Сиповский В.В., *Очерки из истории русского романа*, том. I, вып. 2, С.-Петербург: Типография Спб. Т-ва Печ. и Изд. Дела «Труд», 1910.
79. Скабичевский А.М., «Наш исторический роман», в: *Карамзин: Pro et contra. Антология*, сост. Л.А. Сапченко, СПб: РХГА, 2006, с. 66-71.
80. *Словарь современного русского литературного языка*, том 13, с-няться, Москва-Ленинград, Издательство Академии Наук СССР, 1962.
81. *Словарь современного русского литературного языка*, том 3, Г-Е, Москва-Ленинград, Издательство Академии Наук СССР, 1954.
82. *Словарь современного русского литературного языка*, том 7, Н, Москва-Ленинград, Издательство Академии Наук СССР, 1958.
83. Срезневский И.И., *Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам*, том 1: А-К. Санктпетербург: Типография императорской академии наук, 1893.
84. Срезневский И.И., *Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам*, том 3, Санктпетербург: Типография императорской академии наук, 1903.
85. Старчевский А., *Николай Михайлович Карамзин*, С.-Петербург, 1890.
86. Степанов В.П., «Повесть Карамзина «Фрол Силин», в: *XVIII век. Сб. 8. Державин и Карамзин в литературном движении XVIII – начала XIX века*, под ред. П.Н. Беркова, Г.П. Макогоненко, И.З. Сермана, Ленинград: «Наука», 1969, с. 229-244.

87. Сумароков А.П., *Избранные произведения*, Ленинград: «Советский писатель», 1957.
88. Суни Р.Г., «Аффективные сообщества: структура государства и нации в Российской империи», в: *Российская империя чувств: подходы к культурной истории эмоций. Сб. статей*, под ред. Я. Плампера, Ш. Шахадат и М. Эли, Москва: Новое литературное обозрение, 2010, с. 78-114.
89. Топоров В.Н., «О “Бедной Лизе” Карамзина», в: *Карамзин: pro et contra. Антология*, сост. Л.А. Сапченко, СПб: РХГА, 2006, с. 820-855.
90. Топоров В.Н., «Петербург и “петербургский текст русской литературы” (Введение в тему)», в: Топоров В.Н., *Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное*, Москва: «Прогресс»-«Культура», 1995, с. 259-367.
91. Уортман Р.С., *Сценарии власти: мифы и церемонии русской монархии*, том 1, 2, Москва: О. Г. И., 2004.
92. Успенский Б.А., *Из истории русского литературного языка XVIII - начала XIX века: языковая программа Карамзина и ее историческое значение*, Москва: Изд-во МГУ, 1985, с. 3-70.
93. Федоров В.И., «Повесть Карамзина “Наталья боярская дочь”», *Ученые записки Московского педагогического института имени Потемкина*, 48, 5 (1955), с. 109-142.
94. Филатова Ю.А., *Формирование консервативного стиля мышления: Эдмунд Берк и Николай Карамзин*, диссертация... кандидата исторических наук: 24.00.01. Москва: 2005.
95. Фонвизин Д.И., *Собрание сочинений в двух томах*, том 2, Москва-Ленинград: Государственное издательство художественной литературы, 1959.
96. Фрейд З. «Печаль и меланхолия», в: *Психология эмоций*, сост. В. Вилюнас, СПб: «Питер», 2006, с. 388-396.

97. Фуко М., *Археология знания*, Киев: Ника-центр, 1996.
98. Хабермас Ю., *Философский дискурс о модерне*, пер. с нем. М.М. Беляева и др., Москва: Издательство «Весь мир», 2003.
99. Хемницер И.И., *Полное собрание стихотворений*, Москва-Ленинград: «Советский писатель», 1963.
100. Херасков М.М., *Избранные произведения*, Москва-Ленинград: «Советский писатель», 1961.
101. «Что такое “новая имперская история”, откуда она взялась и к чему она идет?»: беседа с редакторами журнала *Ab Imperio* Ильей Герасимовым и Мариной Могильнер, *Логос* 1 (58), 2007, с. 218-238.
102. Шевырев С.П., «Лекции о русской литературе. Статья № 5», в: *Карамзин: Pro et contra. Антология*, сост. Сапченко Л.А., СПб: РХГА, 2006, с. 80-81.
103. Шенле А., «Между “древней” и “новой” Россией: руины у раннего Карамзина как место “modernity”», *Новое литературное обозрение*, 2003, № 59, с. 125-142.
104. Эткинд А., «Народ в русской политической культуре и литературе 19-го века: Роман внутренней колонизации», *Новое литературное обозрение*, 2003, № 59, с. 103-124.
105. Юрасова Н.Г., «Проблемы методологии анализа художественного времени», *Филология. Искусствоведение. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского*, 2008, № 3, с. 253-258.
106. Янушкевич А.С., «Роман Н. М. Карамзина “Рыцарь нашего времени”: текст и контекст», в: *Карамзин и время*, Томск: Издательство томского университета, 2006, с. 70-91.
107. Ahmed S., *Cultural Politics of Emotions*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.

108. Anderson B., *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*, 1983, 2-nd rev. ed., London: Verso, 1991.
109. Anderson R.B., “Karamzin’s Concept of Linguistic ‘Cosmopolitanism’ in Russian Literature”, *The South Central Bulletin*, Vol. 31, № 4, Studies by Members of SCMLA, (Winter, 1971), p. 168-170.
110. Ankersmit F.R., “The Sublime Dissociation of the Past: Or how to Be (come) What One is No Longer”, *History and Theory*, vol. 40, № 3 (Oct., 2001), p. 295-323.
111. Athanasiou A., Hantzaroula P., Yannakopoulos K., “Towards a New Epistemology: The ‘Affective Turn’”, *HISTOREIN*, 2008, vol. 8, p. 5-16.
112. Austin J. L., *How to Do Things with Words*, 2-nd ed., Oxford: Oxford University Press, 1975.
113. Azim F., *The Colonial Rise of the Novel*, London, New York: Routledge, 1993
114. Baehr S.L., *The Paradise Myth in Eighteenth-Century Russia: Utopian Patterns in Early Secular Russian Literature and Culture*, Stanford, California: Stanford University Press, 1991.
115. Banti A.M., “Deep Images in Nineteenth-Century Nationalist Narrative”, *HISTOREIN: a Review of the Past and Other Stories*, 2008, vol. 8, p. 54-62.
116. Bassin M., *Imperial Visions: Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840-1865*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
117. Berezin M., “Emotions and Political Identity: Mobilizing Affection for the Polity”, in: *Passionate Politics: Emotions and Social Movements*, J. Goodwin, J.M. Jasper, F. Poletta (eds.), Chicago: The University of Chicago Press, p. 83-98.

118. Bermingham A., *Landscape and Ideology: The English Rustic Tradition, 1740-1860*, Berkeley: University of California Press, 1986.
119. Bhabha H.K., *Nation and Narration*, London: Routledge, 1990.
120. Bilenkin V., “The Sublime Moment: Veličestvennoe in N.M. Karamzin’s Letters of a Russian Traveller”, *The Slavic and East European Journal*, vol. 42, № 4, Winter, 1998, p. 605-620.
121. Black, J. L., *Nicholas Karamzin and Russian Society in the nineteenth century: a Study in Russian Political and Historical Thought*, Toronto: University of Toronto Press: 1975.
122. Black J.L., “Nicholas Karamzin’s ‘Opinion’ on Poland: 1819”, *The International History Review*, Vol. 3, № 1, (Jan. 1981), p. 1-19.
123. Breuillard J., «L’espace sentimentaliste», *Modernités russes: L’archaïsme dans la modernité*, 1999, № 1, p. 19-31.
124. Buhks N., “The Role of the Everyday Letter in the Development of Russian Sentimental Prose of the Late Eighteenth Century”, *The Modern Language Review*, vol. 80, № 4 (Oct., 1985), p. 884-889.
125. Byrne W.F., “Burke’s Higher Romanticism: Politics and the Sublime”, *Humanitas*, Volume XIX, Nos. 1 and 2, 2006, p. 14-34.
126. Calhoun C., “Putting Emotions in Their Place”, in: *Passionate Politics: Emotions and Social Movements*, J. Goodwin, J.M. Jasper, F. Poletta (eds.), Chicago: The University of Chicago Press, 2001, p. 45-57.
127. Chaplin J.E., “The Atlantic Ocean and Its Contemporary Meanings, 1492-1808”, in: *Atlantic History: a Critical Appraisal*, J.P. Greene and P.D. Morgan (eds.), Oxford, NY: Oxford University Press, 2009, p. 35-54.
128. Cheah Ph., „Grounds of Comparison“, in: *Grounds of Comparison: around the Work of Benedict Anderson*, J. Culler and Ph. Cheah (eds.), NY: Routledge, 2003, p. 1-20.

129. Cooper F., *Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History*, Berkeley: University of California Pr., cop. 2005.
130. Cross A.G., *N.M. Karamzin: a Study of His Literary Career 1783-1803*, London and Amsterdam: Southern Illinois University Press, 1971.
131. Culler J., "Anderson and the Novel", in: *Grounds of Comparison: around the Work of Benedict Anderson*, J. Culler and Ph. Cheah (eds.), NY: Routledge, 2003, p. 37-41.
132. De Certeau M., *The Practice of Everyday Life*, W.J.T. Mitchell (ed.), Berkeley: University of California Press, 1984.
133. Denby D.J., *Sentimental Narrative and the Social Order in France, 1760-1820*, Cambridge University Press, 1994.
134. Dickinson S., *Breaking Ground: Travel and National Culture in Russia from Peter I to the Era of Pushkin*, Amsterdam-NY: Rodopi, 2006.
135. Ely Ch., *This Meager Nature: Landscape and National Identity in Imperial Russia*, DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 2002.
136. Fieguth R., «Discours du sublime dans le sentimentalisme russe: A. Radiščev et N. Karamzin», in: *Russies: mélanges offerts à Georges Nivat pour son soixantième anniversaire*, D. Amidanav and J.-Ph. Jaccard (eds.), Geneva: L'Age d'homme, 1995, p. 215-228.
137. Gellner E., *Tautos ir nacionalizmas*, iš angl. k. vertė K. Rastenis, Vilnius: Pradai, 1996.
138. Gorbатов I., *Formation du concept de sentimentalisme dans la littérature russe: l'influence de J. J. Rousseau sur l'oeuvre de N. M. Karamzine*, NY: Peter Lang, 1991.
139. Greimas A.-J., "Apie nostalgiją: leksinės semantikos studija", *Kultūros barai*, 2007, № 3, p. 64-48.
140. Greimas A.-J., *Semiotika*, Vilnius: Mintis, 1989.

141. Greenfeld L., *Nationalism: Five Roads to Modernity*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2001.
142. Habermas J., *The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, trans. T. Burger and F. Lawrence, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
143. Hammarberg G., *From the idyll to the novel: Karamzin's Sentimentalist prose*, New York: Cambridge University Press, 2006.
144. Hargreaves A.G., *The Colonial Experience in French Fiction: a Study of Pierre Loti, Ernest Psichari and Pierre Mille*, London, Basingstoke: The Mackmillan Press, cop. 1981.
145. Herman D., *Poverty of the Imagination: Nineteenth Century Russian Literature about the Poor*, Illinois: Northwestern University Press, 2001, p. 1-35.
146. Huet M.-H., "The Revolutionary Sublime", *Eighteenth-Century Studies*, Vol. 28, № 1, (Autumn, 1994), p. 51-64.
147. Jakniūnaitė D., *Kur prasideda ir baigiasi Rusija: kaimynystė tarptautinėje politikoje*, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007.
148. Kahn A., *Introduction in Nikolaj Karamzin, Letters of a Russian traveler: a translation, with an essay on Karamzin's discourses of Enlightenment*, Oxford: Voltaire Foundation, 2003.
149. Kahn A., «"Блаженство не в лучах порфира". Histoire et fonction de la tranquillité (spokojstvie) dans la pensée et la poésie russes du XVIII siècle, de Kantemir au sentimentalisme», *Revue des études slaves*, tome soixante-quatrième, traduit de l'anglais par J. Breuillard, Paris: 2002-2003, p. 669-686.
150. Kane A., "Finding Emotion in Social Movement Processes: Irish Land Movement Metaphors and Narratives", in: *Passionate Politics: Emotions and Social Movements*, J. Goodwin, M. Jasper,

- F. Poletta (eds.), Chicago: The University of Chicago Press, 2001, p. 251-266.
151. Kusber J., “Mastering the Imperial Space: The Case of Siberia. Theoretical Approaches and Recent Directions of Research”, *Ab Imperio*, 4/2008, p. 52-74.
152. *Landscape and Power*, W.J.T. Mitchel (ed.), 2-nd edition, Chicago: The Chicago University Press, 2002.
153. Layton S., “Review”, *The Russian Review*, vol. 60, № 1, (Jan. 2001), p. 115-116.
154. Layton S., *Russian Literature and Empire: Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy*, UK: Cambridge University Press, 1994.
155. Lefebvre H., *Production of Space*, trans. by D. Nicholson-Smith, Oxford: Blackwell, 1991.
156. Lewis S.M., *Modes of Historical Discourse in J.G. Herder and N.M. Karamzin*, New York: P. Lang, 1995.
157. Lokke K., “Schiller’s Maria Stuart: The Historical Sublime and the Aesthetics of Gender”, *Monatshefte*, Vol. 82, No. 2 (Summer, 1990), p. 123-141.
158. Makdishi S., *Romantic Imperialism: Universal Empire and the Culture of Modernity*, Cambridge: Cambridge University Press: 1998.
159. McGrew R.E., “Notes on the Princely Role in Karamzin’s 'Istorija Gosudarstva Rossijskago'”, *The American Slavic and East European Review*, vol. 18, No. 1, (Feb. 1959), p. 12-24.
160. Miller I.W., *The Anatomy of Disgust*, Cambridge: Harvard University Press, 1997.
161. Moretti F., *Atlas of the European Novel, 1800-1900*, London: Verso, 1998.
162. Nastopka K., *Literatūros semiotika*, Vilnius: Baltos lankos, 2010.

163. Nebel H.M., *N. M. Karamzin: A Russian Sentimentalist*, The Hague, Paris, Monton and Co., 1967.
164. Ngai S., *Ugly feelings*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2005.
165. Nordquist J., *Postcolonial Theory: a Bibliography*, Santa Cruz CA: Reference and research services, 1998.
166. Norkus Z., *Nepasiskelbusioji imperija: Lietuvos Didžioji Kunigaikštija lyginamosios istorinės imperijų sociologijos požiūriu*, Vilnius: Aidai, 2009.
167. O’Gorman N., “The Political Sublime: An Oxymoron”, *Millenium: Journal of International Studies*, 2006, Vol. 34, № 3, p. 889-915.
168. Peñalosa F., “Appropriating the ‘Unattainable’: The British Travel Experience in Patagonia”, in: *Informal Empire in Latin America: Culture, Commerce and Capital*, ed. by M. Brown, Oxford: Blackwell Publishing, 2008, p. 149-172.
169. Pipes R., *Karamzin’s Memoir on Ancient and Modern Russia: a translation and analysis*, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2005.
170. Pipes R., “Karamzin’s Conception of the Monarchy”, in: *Essays on Karamzin, Russian man-of letters, political thinker, historian, 1766-1826*, J.L. Black (ed.), The Hague: Mouton, 1975, p. 105-125.
171. Pramod N.K., *Colonial Voices: The Discourses of Empire*, Blackwell Publishing, 2012.
172. Pratt M.L., *Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation*, London and New York: Routledge, 1992.
173. Price M., “The Picturesque Moment”, in: *From Sensibility to Romanticism: Essays Presented to Frederick A. Pottle*, F.W. Hilles and H. Bloom (eds.), New York: Oxford University Press, 1965, p. 259-292.

174. Raeff M., “At the Origins of a Russian National Consciousness: Eighteenth Century Roots and Napoleonic Wars”, *The History Teacher*, Vol. 25, N. 1, (Nov., 1991), p. 7-18.
175. Raeff M., “The Well-Ordered Police State and the Development of Modernity in Seventeenth-and-Eighteenth-Century Europe”, in: *Political Ideas and Institutions in Imperial Russia*, Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press, 1994, p. 309-333.
176. Ram H., *The Imperial Sublime, A Russian Poetics of Empire*, Madison: University of Wisconsin Press: 2003.
177. Reddy M.W., *The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
178. *Remapping the rise of the European novel*, ed. by J. Mander, Oxford: Voltaire foundation, 2007:10.
179. Richards T., *The Imperial Archive: Knowledge and the Fantasy of Empire*, London, New York: Verso, 1993.
180. Rogger H., *National Consciousness in Eighteenth-Century Russia*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1960.
181. Rosenwein B.H., *Emotional communities in the early Middle Ages*, New York: Cornell University Press, 2006.
182. Rothe H., *N.M. Karamzins europäische Reise: Der Beginn des Russischen Romans. Philosophische Untersuchungen*, Bad Homburg v.d. H., Verlag Gehlen, 1968.
183. Said E.W., *Orientalizmas*, iš anglų k. vertė V. Davoliūtė ir K. Seibutis, Vilnius: Apostrofa, 2006.
184. Said E.W., *Culture and Imperialism*, New York: Knopf, 1993.
185. Sankar M., *Enlightenment against Empire*, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2003.
186. Schierle I., “Patriotism and Emotions: Love of the Fatherland in Catherinian Russia“, *Ab Imperio*, Казань: Б/И, 2009, № 3, с. 65-93.

187. Schönle A., *The Ruler in the Garden: Politics and Landscape Design in Imperial Russia*, Bern: Peter Lang, 2007.
188. Schönle A., *Authenticity and Fiction in the Russian Literary Journey, 1790-1840*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2000.
189. Shapiro G., "From the Sublime to the Political: Some Historical Notes", *New Literary History*, Vol. 16, № 2, (Winter 1985), p. 213-135.
190. Sommer D., *Foundational Fictions: The National Romances of Latin America*, Berkeley: University of California Press, 1991.
191. Spacks M.P., *Boredom: The Literary History of a State of Mind*, Chicago, London: The University of Chicago Press, 2004.
192. Thaden E.C., "The Beginnings of Romantic Nationalism in Russia", *American Slavic and Eastern European Review*, Vol. 13, № 4, (Dec., 1954), p. 500-521.
193. Thompson E.M., *Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm*, przekł. A. Sierszulska, Kraków: UNIVERSITAS: 2000.
194. *The Affective Turn: Theorizing the Social*, P. Clough Ticineto and J. Halley (eds.), Durham & London: Duke University Press, 2007.
195. *The Affect Theory Reader*, G.J. Seigworth and M. Gregg (eds.), Durham & London: Duke University Press, 2010.
196. White H., "Politics of Historical Interpretation: Discipline and De-Sublimation", *Critical Inquiry*, 9, № 1, (September, 1982), p. 113-137.
197. White S.K., *Edmund Burke: Modernity, Politics, and Aesthetics*, California: Sage publications, 1994.
198. Wood N., "The Aesthetic Dimension of Burke's Political Thought", in: *Edmund Burke*, Hampsher-Monk (ed.), University of Exeter, UK: ASHGATE, 2009, p. 167-190.

